

Р О Б И Н В А С С Е Р М А Н



Честная проза,
тяжелая, как ботинки Dr. Martens,
надрывная, как песни Nirvana.

#ТАТУ_СЕРИЯ

Тату-серия

Робин Вассерман

Девочки в огне

«РИПОЛ Классик»

2016

УДК 821.111
ББК 84(7Амер)6

Вассерман Р.

Девочки в огне / Р. Вассерман — «РИПОЛ Классик»,
2016 — (Тату-серия)

ISBN 978-5-386-10762-8

Шокирующая череда любовей и предательств складывается в щемящую повесть о девичьей дружбе, которая пытается пробиться сквозь удушливый мирок захолустного американского городка времен расцвета гранжа. «Девочки в огне» – искренний и яростный рассказ о девочках потерянных и нашедших себя, девочках сильных и слабых, девочках, которые лишь слабо мерцают, – и тех, кто горит все ярче и ярче.

УДК 821.111
ББК 84(7Амер)6

ISBN 978-5-386-10762-8

© Вассерман Р., 2016
© РИПОЛ Классик, 2016

Содержание

Сегодня	6
Мы. Январь – март 1992	8
Декс. До Лэйси	8
Лэйси. До встречи с тобой	18
Декс. Наша история	22
Лэйси. Если я врала	41
Они	48
Мы. Апрель – июль 1992	50
Декс. Прибежище дьявола	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Робин Вассерман

Девочки в огне

Robin Wasserman
Girls on Fire

© 2016 by Robin Wasserman

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

* * *

*В веке золотом,
Светом залитом, —
Вечная весна
И, как снег ясна,
Юных тел нагая белизна.*

Уильям Блейк¹

*Поверишь ли, когда скажу —
Ты королева сердца моего.*

Nirvana

¹ Блейк У. Заблудшая девочка. Пер. В. Топорова. — Здесь и далее примеч. пер.

Сегодня

Понаблюдайте в предзакатный час за оравой девчонок, которые, ошалев от радости, потому что закончились уроки, впихиваются в городской автобус. Неловкие руки проходятся, якобы невзначай, по ложбинке между приподнятых лифчиком груди, обгрызенные ногти колупают зрелые прыщики, губы искусаны, глаза прищурены в тщетной попытке не расплаться. Слабейшие проглочены и выплюнуты стильными и сильными. Девчонки в клетчатых юбчонках, подтянутых неизмеримо выше колена, девчонки, пользующиеся резким рывком автобуса, чтобы упасть на объект своего внимания – «упс, прости, парниша, не хотела тыкать своими буферами тебе в лицо, а это у тебя телефон в кармане или ты просто рад встрече?»

Даже не пытайтесь их не заметить. Девчонки повсюду. Вон они стоят, прислонившись к стене магазина, и с деланно беззаботным видом поигрывают сигаретой, выпуская клубы дыма; или набирают номер на телефоне, визгливо сообщая окружающим, что «мамаша такая сучка». Они повыше задирают юбки перед отделом спиртного в надежде, что им продадут большую бутылку водки, если они сверкнут ляжками, а в косметическом отделе беспомощно глазают на полки с лаками для ногтей, будто слыша безмолвное одобрение, подначку тихонько скинуть в сумку вон те вишнево-красные бутылочки, оправдать злобные взгляды продавщиц, уступить соблазну, ожиданиям, подростковой обязанности, *поддаться*.

Поддаться: выберите парочку из них, полностью растворившихся друг в друге, идеальный комплект, будто видение из прошлого. Ничего особенного, две пустышки. Но когда они вместе, они излучают радиацию, излучают свечение. Примостились на заднем сиденье автобуса, руки переплетены, лбы соприкасаются.

И всю дорогу они поглощены исключительно друг другом, сжигаемые изнутри жадой всего и побольше – великой, безграничной, экзистенциальной жадой. Выйдите за ними из автобуса на солнце. Та, что главная (в таких парах обязательно есть главная), стягивает резинку для волос и встряхивает непокорной волнистой шевелюрой. У нее безупречный макияж, яркие, чрезмерно пухлые соблазнительные губы. Другая совсем не накрашена, прямые гладкие волосы платинового оттенка с отдельными ярко-розовыми прядями развеивает океанский бриз, пока подружки направляются к воде.

Смотрите: вот они задержались мимоходом, чтобы бесцельно обозреть стойку с солнцезащитными очками и уцененными майками, а теперь глазают на скейтбордистов и штангистов, любуясь игрой солнечных бликов на умасненных мускулах и каплями пота на тугой коже. Последуйте за ними на песчаный пляж. Не бойтесь, они вас не засекут, потому что никого вокруг не замечают. Понаблюдайте, как они лизут мягкое мороженое, подцепляя языком сливочную спираль: кудрявая втягивает в рот и выпускает обратно сладкую ледяную башенку, медленно и томно ее посасывая, пока другая не заметит ее маневр и не толкнет подружку локтем, отчаянно покраснев. Потом они пройдутся «колесом» по полосе прибоя, после чего, бессмысленно улыбаясь, снимут себя на телефон, запечатлев момент для вечности и поделившись им со всеми, кого знают. Будто существует лишь то, что зафиксировано и просмотрено.

Вот они, надорвав пачку чипсов «Доритос», отмахиваются от алчных чаек и слизывают с липких пальцев оранжевую посыпку. А потом навзничь падают на импровизированную пляжную подстилку – мятую, крашенную вручную простыню, вытащенную из рюкзака кудрявой. Они поделят на двоих пару наушников и уставятся в небо, и неведомый саундтрек будет рисовать для них узоры в облаках.

Постарайтесь сдержаться и не нависайте над ними, не бросайте на них тень возраста, не потрясайте кулаком, не пророчьте скорый конец всему, конец дням, похожим на этот, не требуйте клятв наслаждаться каждой восхитительной минутой и мерить угасающие вечера мелодиями и крошками «Доритос». Сдержитесь. Будь осторожны, не то чары рассеются.

Смолчите, ведь вы знаете девчонок: девчонки никого не слушают. Может, уж лучше растолкать их, швырнуть в море. Пусть это волшебное мгновение станет последним, не подвергнется порче блекнувшей памятью или эмоциями; зафиксируйте его во времени, пока не исчезло. Скажите: «Уйдите красиво, девчонки», – и столкните их в волны. Пусть плывут на край света.

Невозможно не смотреть на них, не жаждать смотреть на них; невозможно не вспоминать, как это было, когда это было с вами. Сидеть, дрожа от холода, когда солнце ныряет за горизонт, над тихоокеанским побережьем поднимается ледяной ветер, небо полыхает красным, а вокруг девочек сгущается тьма, и ни одна из них не знает, что пройдет совсем немного времени, и огонь погаснет.

Запомните, как это здорово: пылать огнем.

Мы. Январь – март 1992

Декс. До Лэйси

Еще до того, как мы погибли, до крови на руках и того, что осталось в лесу, до «мартин-сов», фланелевой рубашки и Курта, даже до Лэйси стало ясно: худшее, что могло случиться, по крайней мере в этом городе, где никогда ничего не случалось, уже произошло. Хеллоуин, 1991 год: той ночью Крэйг Эллисон отправился в лес с отцовским ружьем. Крэйг Эллисон не значил для меня ничего. Меньше, чем ничего. Живой Крэйг Эллисон – это футболки «Биг Джонсон», идиотские мешковатые джинсы, из-под которых торчит резинка трусов-боксеров», звонкий шлепок мяча. Это баскетбол зимой и лакросс весной, и круглый год – безмозглый блондин со склонностью к жестокости; формально – мой одноклассник еще с детского сада, но во всем остальном – обитатель параллельной реальности, где улюлюкают на школьных матчах и коротают субботние вечера за выпивкой и дробкой под Color Me Badd, а не сидят дома за просмотром сериала «Золотые девочки». Пожалуй, Крэйг – всего лишь груда мышц, и в те немногие разы, когда наши пути пересекались и он удосуживался заметить мое существование, от него, как правило, можно было ожидать брошенной походя милой остроты типа: «Шевелись, сцу-у-ука!» Смерть превратила его сразу и в мученика, и в чудо, хотя ни то ни другое и близко не лежало к правде.

Официальные письма из школы, разосланные нам в течение двух суток, деликатно обрисовывали историю, которую уже знал весь город. Папа любил говорить, что в Батл-Крике даже в собственную постель не нагадишь, без того чтобы сосед тут же не подскочил подтереть задницу, и хотя по большей части он просто хотел позлить маму – ее бесило, когда наш с отцом диалог неизбежно сводился к обсуждению нюансов гипотетического публичного акта дефекации в постель и обстоятельств, в которых его можно ожидать, – доля истины в его словах присутствовала. Батл-Крик, штат Пенсильвания, город, к счастью, достаточно большой, чтобы шансы наткнуться по пути в гастроном на того, кого знаешь с пеленок, составляли лишь пятьдесят на пятьдесят, но все же невелик и питается новыми слухами пополам со старыми обидами. Если вместо баскетбольной тренировки отправиться в лес с папиным ружьем и выстрелить себе в голову, то сплетен не оберешься.

Письма информировали нас о «несчастном случае» с Крэйгом Эллисоном и предлагали родителям «откровенно обсудить» с детьми любые чувства и «позывы», которые могли возникнуть после безвременной утраты «блестящего юноши», ушедшего «в расцвете сил». И никакого упоминания о том, что не последней причиной появления дыры в голове явились ход баскетбольного сезона и подружка, не брезгующая минетом, – основа «расцвета» Крэйга Эллисона.

– Пришло письмо из школы, – сообщил в тот день папа, когда я вернулась домой.

Обычно к моему приходу после уроков он был дома: либо в данный момент не работал, либо работа «не требовала постоянного присутствия». Разумеется, отец вкладывал в эту формулировку более гибкий смысл, чем его наниматели, но они не торопились его поправлять. «Ты удивишься, – любил объяснять мне папа, – но большинство людей стремятся до последнего избегать конфронтации, особенно если человек им по душе». Призвание Джимми Декстера заключалось в том, чтобы быть человеком, который всем по душе.

Открывая «откровенное обсуждение», рекомендованное в письме, папа начал:

– Ханна... – и смолк.

По-видимому, вступление предполагало продолжение: «Хочешь поговорить об этом?», но поскольку в доме Декстеров «говорить об этом» было не принято, а в данном случае мне хотелось говорить еще меньше обычного, я ответила:

– Пойду телик посмотрю.

Он заметил:

– Ты слишком много смотришь телевизор, – после чего устроился рядом со мной на диване с пачкой печенья «Орео» и двумя стаканами молока. Мы посмотрели теле игры «Пирамида» и «Пароль», потом шоу Джерри Спрингера, а дальше домой вернулась мама и с натянутой улыбкой, едва маскирующей раздражение, предложила нам перестать тупить. Не знаю, показал он ей письмо или нет, но она его ни разу не упомянула.

Каждого старшеклассника заставили хотя бы раз встретиться со школьным психологом, оценивавшим уровень наших страданий по десятибалльной шкале; инициатором, как я теперь догадываюсь, выступила страховая компания школьного округа, потому что отец девушки Крэйга был юристом, и отсутствие как минимум жесткого прессинга в сфере психогигиены могло запросто обернуться судебным иском. Моя встреча с психологом состоялась спустя несколько недель после гибели Крэйга, в одно из «окон», зарезервированных для ничтожеств вроде меня (девушка Крэйга явилась уже на следующее утро после и выгадала на своем безутешном горе двухнедельные каникулы). Все ограничилось обычной формальностью. Снятся ли мне кошмары? Бывает ли, что я не в силах справиться с приступом рыданий? Или не могу сосредоточиться на школьных занятиях? Требуется ли мне помощь или консультации? Счастлива ли я?

– Нет, нет, нет, нет, – твердила я и, поскольку говорить правду школьному психологу не имело смысла, на последний вопрос ответила: – Да.

– Что тебя больше всего тревожит в связи с его смертью? – спросил психолог, пытаясь незаметно промокнуть потные подмышки.

У доктора Джилла не было своего кабинета, только оранжевый ящик из-под молочной тары с папками, который он таскал по всему округу, устраиваясь за свободными чужими столами или в кладовке на перевернутой мусорной корзинке. Из-за этого – а может, из-за дурацкой накладки из волос, бархатистого голоса и кукол, которые он всегда носил с собой, неизменно готовый спросить: «Он трогал тебя здесь? А здесь?», – обычно мы держали его за уличного бродягу, который пахнет собачьим дерьмом и бубнит про конец света. Я испытывала к нему безотчетную жалость, но он был из тех, кого значительно легче жалеть в теории, чем на практике.

– Он два дня пролежал в лесу, – ответила я. – Просто... лежал и ждал, пока его найдут.

Доктор Джилл поинтересовался, беспокоит ли меня собственное исчезновение: заметят ли мое отсутствие, пойдут ли искать, или я просто просочусь сквозь прозрачную границу жизни, дожидаясь, пока меня обнаружат. Спасут. Метафорически, поспешил добавить он. В свете моей гипотетической боязни потеряться.

Я не стала объяснять, что в случае Крэйга, два дня гнившего в лесу, меня беспокоила вовсе не задержка поисковой операции, а мысль о том, что случается с телом в лесу за сорок восемь часов, мысль о процессе, в ходе которого человек постепенно трансформируется в изглоданный зверями труп; я не рассказала, как прокручиваю в голове, наподобие тех ускоренных видео с распускающимися цветами, детальное зрелище: тело издает последний предсмертный хрип, плоть гниет, ее топчут олени, гложут белки, по ней маршируют муравьи. Та первая неделя ноября выдалась на редкость теплой; поговаривали, что труп нашли по запаху.

Но в самоубийстве Крэйга сильнее всего меня беспокоили даже не мысли о мертвом теле. Еще больше, хотя я никогда не призналась бы в этом, меня мучило внезапное открытие, что и у таких, как Крэйг Эллисон, бывают свои секреты, что и ему не чужды человеческие чувства, не слишком отличные от моих. И что чувства эти, судя по всему, даже глубже моих. Как ни хреново мне было, ему, по-видимому, пришлось еще хреннее. Потому что я в неудачный день утешалась мультиками и большой пачкой «Доритос», а Крэйг прихватил в лес отцовское ружье и продырявил себе башку. Когда-то у меня была морская свинка, которая только и делала, что

ела, спала и гадила, и если бы вдруг выяснилось, что переживания морской свинки глубже моих, я бы тоже встревожилась.

Благодаря сомнительной причинно-следственной связи, усматриваемой администрацией между депрессией и безбожием, а возможно, из-за ходивших по городу слухов, что Крэйга подтолкнул к самоубийству некий подпольный сатанинский культ, новая посмертная политика школы предписывала во время самостоятельных занятий уделять по три минуты безмолвной молитве. Крэйг учился в моем классе. Он сидел справа от меня, наискосок, на две парты впереди, на том месте, куда мы теперь почитали за лучшее не смотреть. За несколько лет до того, во время солнечного затмения, мы все смастерили маленькие картонные коробочки для наблюдения: нас предупредили, что прямой взгляд на солнце зажарит сетчатку до хруста. Физика явления меня не интересовала, только поэзия – необходимость обмануть глаза и смотреть на объект, в действительности не глядя на его. Так я и делала: разрешала себе взглянуть на парту Крэйга только во время трехминутной безмолвной молитвы, когда остальные сидели с закрытыми глазами и склоненными головами. Взгляд украдкой как будто не считался.

Так продолжалось пару месяцев, пока нечто – не столько шум, сколько импульс, больше похожий на невидимое прикосновение к плечу, на бессловесный шепот, уверяющий, что «судьба в той стороне», – заставило меня оторвать взгляд от полированной столешницы, которую Крэйг изрезал многочисленными изображениями члена с яйцами, и обернуться к девочке в противоположном углу класса, которую я по привычке считала «новенькой», хотя она пришла к нам в сентябре. Глаза у нее были широко открыты, она смотрела на стол Крэйга, а потом перевела взгляд на меня. Губы ее скривились в усмешке, а когда через мгновение учитель объявил, что время вышло, она подняла руку и заявила, что молитва в школе, пусть даже безмолвная, – это незаконно.

Лэйси Шамплейн отличалась именем стриптизерши и гардеробом дальнобойщика – сплошь фланелевые рубашки и тяжелые армейские ботинки (застывшие, как и мы, в том месте, которое Лэйси позднее назвала задницей Западной Пенсильвании²), в которых мы еще не распознали декларацию приверженности гранжу. Новая ученица в школе, где вот уже четыре года не было новичков, классификации она не поддавалась. В ней чувствовалась какая-то неукротимость, служившая дополнительной защитой, благодаря чему Лэйси стала двуногим эквивалентом Крэйговой парты, куда можно взглянуть разве что украдкой. Теперь же я смотрела на нее в упор, гадая, как ей удастся сохранять самообладание под грозным взглядом мистера Каллахана.

– У вас есть претензии к Господу? – поинтересовался он.

Каллахан также преподавал историю и славился тем, что мог запросто пропустить какое-нибудь десятилетие или войну ради разглагольствований, какая чушь это радиоуглеродное датирование, или что даже все случайные мутации, вместе взятые, не способны объяснить эволюцию человеческого глаза.

– У меня есть претензии к вам, когда вы задаете подобный вопрос в здании, построенном на деньги налогоплательщиков.

У Лэйси Шамплейн были темные, практически черные вьющиеся волосы, обрамляющие лицо и остриженные до подбородка в стиле эмансипе. Бледная кожа, кроваво-красные губы – ей даже не надо было наряжаться готом, готическая внешность досталась ей от природы, по праву вампирского рождения. Ногти у нее были того же цвета, что губы, как и высокие ботинки на шнуровке до лодыжек, словно предназначенные для того, чтобы громко топать. И если мое тело представляло собой несуразную совокупность бугров и провалов, она обладала тем, что вполне можно назвать фигурой: все выпуклости и впадинки были нужных форм и размеров.

² Игра слов: butt-crack (задница) созвучно названию города Батл-Крик.

– Другие возражения с галерки будут? – осведомился учитель и медленно, одного за другим, оглядел нас, выжидая, отважится ли кто-нибудь поднять руку. Взгляд Каллахана уже не был насколько пугающим, как до того утра, когда он сообщил, что Крэйг не вернулся, – в тот день его лицо словно распалось на части и уже никогда не собралось вновь, хотя выглядел учитель достаточно сурово, чтобы все прикусили языки. С победной улыбкой, будто выиграв раунд боя, Каллахан сообщил Лэйси, что она вольна уйти, если молитва ее напрягает.

Она и ушла. По слухам, сначала заглянула в библиотеку, а потом напрямик направилась в кабинет директора со сводом конституционных прав в одной руке и телефонным номером Американского союза защиты гражданских свобод в другой. Так закончилось недолгое увлечение старшей школы Батл-Крика безмолвными молитвами.

Мне казалось, что наш обмен взглядами повлечет какие-нибудь последствия, раз он уже спровоцировал бунт. Я начала следить за Лэйси, ожидая получить подтверждение тому, что между нами появилась связь. Если она и заметила мое внимание, то виду не показала и, когда я оглядывалась на нее, никогда не смотрела в мою сторону. Наконец я почувствовала себя полной дурой и, чтобы не оказаться в положении жалкого изгоя, который переплавляет крохи мимолетной встречи в изощренные фантазии о тесной дружбе, официально забыла о существовании Лэйси Шамплейн.

Не то чтобы я действительно была жалким изгоем – определенно нет, если мерить кинематографическими стандартами, согласно которым любая школьница либо грудастая чирлидерша, либо одинокая чудачка. Всегда находилась пара столов за обедом, куда я могла подсесть, несколько нормальных девчонок, с которыми обмениваешься домашкой или объединяешься для коллективного проекта. Мечты о лучшей подруге остались позади вместе с куклами Барби, «Моим маленькими пони» и прочим детским лепетом. Я зареклась мечтать еще в шестом классе. Тогда большинство моих однокашниц начали бредить мальчиками вообще и пробивающимися усиками Крэйга в частности, а я в сотый раз перечитала «Энн из Зеленых Крыш» и решила, что, как и Энн, заслуживаю душевную подругу, «единомышленницу, которой могу доверить самое сокровенное». А еще я решила, что моя нынешняя якобы лучшая подруга, девочка по имени Алекса, которая обожала свитшоты «Эспри» и отказалась купить жутко популярные тогда парные кулоны-сердечки с аббревиатурой BFF – «Подруги навеки» (а вдруг поступит предложение получше), не соответствует моим требованиям. Едва я поставила ее в известность об этом, она променяла меня на девушку Крэйга, которая в том году только-только вступила в свою должность. Вот тогда я и перестала верить, что Батл-Крик вообще способен обеспечить меня родственной душой, и приготовилась терпеть еще несколько тысяч дней, пока не сумею сбежать туда, где, как я отчаянно надеялась, меня ждет более гостеприимный и близкий по духу мир.

Короче говоря, я так долго была одинока, что почти не чувствовала одиночества. Это ощущение сиротства, тоски по тому, чего у меня нет, крика в пустоту, которого никто не слышит, – я совсем позабыла, что не оно составляет основу жизни.

* * *

За пределами начальной школы ландшафты не столь удручающе унылы. Даже мое строго организованное существование, состоявшее из уроков, домашних заданий, телевизора и полного отсутствия рефлексии, разнообразилось некоторыми взлетами и спадами. Уроки физкультуры представляли собой глубокую долину, и той зимой, когда температура падала до десяти градусов и мы дрожали от холода на софтбольном поле в своих дурацких белых юбчонках, она больше напоминала долину смертной тени, где девушка Крэйга со свитой подобострастных мартышек занимала базы, отчего мне становилось еще хуже. Девушка Крэйга. Мне нравилось ее так называть, особенно пока он еще не умер и титул не приобрел трагической красоты.

Назвать Никки Драммонд девушкой Крэйга – все равно что называть Мадонну бывшей женой Шона Пенна. Несмотря на свои спортивные заслуги, до памятного последнего поступка в своей жизни Крэйг был ничтожеством; Никки Драммонд же, по крайней мере в рамках ограниченной космологии учеников старшей школы Батл-Крика, считалась богиней.

В жизни любого человека должна присутствовать маленькая Никки Драммонд, теперь я это знаю. В каждой школе найдется своя Никки: ослепительная принцесса с алыми пухлыми губками и удивленно-невинными глазками («кто, я?»). И в каждой школе есть девочки, священнодействующие у ее алтаря, опасные в своем безумии, и девочки вроде меня, которые помнят маленькую неуклюжую Никки, которая еще не выучилась делать гадости с медовой улыбкой на устах, – ничтожества, затаившие злобу. Вся она, от мелированной макушки до кончиков кроссовок «Эл-Эй гир», представляла собой ходячее клише, и, не будь Батл-Крик размером с собачью какашку, мы бы непременно это поняли. Ей хватило смазливости, чтобы оказаться главной красоткой в своем грязном городишке, благодаря чему – вкупе с деньгами родителей, отсветом славы Крэйга и блеском ореола принцессы, скрывавшим от всех, кроме меня, ее истинное уродство, – стала неуязвимой.

К той поре большинство из нас овладели искусством носить физкультурную форму, не открывая ни на дюйм больше голого тела, чем нужно, а также гимнастическими ухищрениями по маскировке излишков. Никки себя этим не утруждала. Лифчик у нее всегда был подобран к трусикам, а когда ей надоедало демонстрировать плоский животик и совершенные выпуклости, втиснутые в очередной пастельный атласный комплект, она даже предписанную белую теннисную юбку каким-то образом умудрялась сделать симпатичной. С другой стороны, возьмем меня: провисшие старушечьи трусы и дряблые сиськи второго размера под растянутым спортивным бюстгалтером – зеркало было моим врагом. Поэтому я не посмотрелась в него перед выходом из раздевалки и ничего не заметила, пока на поле, в середине первого иннинга, не поняла, что все смеются, и смеются именно надо мной; ничего не поняла, пока Никки Драммонд не подкралась ко мне на скамейке запасных, шепнув со смешком, что мне бы надо «заткнуть киску тампоном», а то на юбке у меня появилось красное пятно, не предусмотренное регламентом, и только тогда я очнулась и сообразила, что все это происходит на самом деле и что я протекла. Было липко и сыро, и если бы Никки дала мне в руки нож, я с облегчением перерезала бы себе вены, но она дала мне лишь слово, которого такие примерные девочки произносить не должны и которое теперь каждый, глядя на меня, наверняка будет вспоминать; увидит Ханну Декстер и подумает: *киска*, моя *киска*, моя мокрая *грязная киска*; и, если бы не это слово, я бы еще пережила, пошутила и забыла, но тут я вспыхнула и разревелась, заслоняя руками измазанную задницу, словно могла заставить их развидеть то, что они видели, а зубы Никки, белоснежные, как ее юбка, сверкнули в улыбке; а потом я вдруг очутилась в медкабинете, все еще истекая кровью, все еще рыдая, комкая лежащие на коленях джинсы и футболку, а физкультурник тем временем объяснял медсестре, что произошла *неприятность*, что я *испачкалась* и меня, вероятно, надо вымыть, переодеть, а потом отправить с одним из родителей или с охранником домой.

Я заперлась в убогой ванной за медкабинетом, переоделась в чистые джинсы, «заткнула киску тампоном», повязала куртку вокруг талии, умылась и попыталась всухую проблестаться в унитаз, а когда я наконец вышла, за дверью стояла Лэйси Шамплейн: она дожидалась, пока медсестра решит, что никакая голова у нее не болит, и отошлет обратно в класс, но в действительности – во всяком случае, так мы рассказывали нашу историю впоследствии, когда нам неизбежно пришлось сотворить из нее легенду, – на каком-то глубинном подсознательном уровне она дожидалась меня.

В предбаннике медкабинета пахло медицинским спиртом. От Лэйси пахло Рождеством, имбирем и гвоздикой. Я слышала, как медсестра болтает у себя в кабинете по телефону, жалуясь на переработки и какую-то «дрянную стерву».

Тут Лэйси посмотрела на меня:

– Кто это был?

Никто; виновата была только я, мои «критические дни», обильные месячные и жесткие требования, налагаемые белой одеждой; но ведь было не только пятно крови, но и всеобщий смех, не только протечка, но и «киска», была Никки Драммонд, и когда я сказала об этом, уголок рта Лэйси с одной стороны пополз вверх, пальцы крутанулись над губой, словно вертя невидимый ус, и я почему-то сразу догадалась, что это означает улыбку.

– Ты когда-нибудь думала сделать с собой такое? Как он? – спросила она.

– Сделать что?

Это стоило мне взгляда, который впоследствии приходилось видеть нередко. Он означал, что я ее разочаровала; он означал, что Лэйси ожидала большего, и все-таки даст мне еще один шанс.

– Покончить с собой.

– Возможно, – ответила я. – Бывало.

Я никогда не говорила такого вслух. Будто носила в себе тайный недуг, но не хотела, чтобы другие знали, что я заразна. Я почти ждала, что Лэйси сейчас отодвинется от меня.

Вместо этого она вытянула вперед левую руку и перевернула ее, демонстрируя запястье:

– Видишь?

Я увидела молочно-белую кожу с паутиной голубоватых сосудов.

– Что?

Она постучала пальцем по косой белой линии длиной с ноготь большого пальца.

– Самоповреждение, – объяснила она. – Вот что случается, когда падаешь духом.

Мне захотелось потрогать шрам. Ощутить его выпуклость и биение пульса под ним.

– Правда?

Внезапный приступ смеха.

– Да нет, конечно! Бумагой порезалась. Я тебя умоляю!

Она надо мной насмехается или нет? Она похожа на меня или нет?

Она ненормальная, как уверяют многие ребята, или нет?

– В любом случае, если бы я собиралась это сделать, то не таким способом, – заявила Лэйси. – Не ножом.

– А как?

Она покачала головой и недовольно хмыкнула, будто осаживая ребенка, потянувшегося к сигаретам:

– Я расскажу тебе, если ты мне расскажешь.

– Про что расскажу?

– Про свой план – как ты собираешься это сделать.

– Но я не собираю...

– Собираешься или нет, не суть важно, – перебила она, и я поняла, что мои шансы на исходе. – Как себя убить – это самое личное из решений, которые человек принимает. Оно расскажет о тебе все. Все, что действительно важно. Ты так не считаешь?

Почему я ответила ей именно так, как ответила? Потому что видела, что начинаю ей надоедать, а мне хотелось удержать ее внимание; потому что отчаялась, вымоталась и до сих пор чувствовала липкую сырость под джинсами; потому что устала молчать о том, что казалось мне правдой.

– Значит, прострелив себе башку, Крэйг хотел сказать: «Моя подружка сука, и это единственный способ окончательно с ней порвать?» – произнесла я, а потом добавила: – Может, это единственный умный поступок, который он совершил за всю жизнь.

Позднее ей даже не пришлось говорить мне, что именно эти слова ее покорили.

– Лэйси, – сказала она, снова протянула мне руку, на этот раз боком, и мы обменялись рукопожатием.

– Ханна.

– Нет. Терпеть не могу это имя. Как твоя фамилия? – Она все еще держала мою руку в своей.

– Декстер.

Она кивнула:

– Декс. Уже лучше. С этим можно работать.

* * *

Мы удрали из школы.

– В такой день нужны огромные дозы сахара и алкоголя, – сказала Лэйси. – Может, картошки фри. Ты со мной?

Раньше я никогда не сбегала с уроков. Ханна Декстер правил не нарушала. Декс же последовала напрямик за Лэйси, думая не про последствия, а про «заткнуть киску тампоном», и если бы Лэйси предложила спалить школу, Декс сразу взялась бы за дело.

Радио в ее выдавшем виды «бьюике» ловило только средние волны, но Лэйси включила старую магнитоу «Барби», стоящую на приборной панели. Звук она выкрутила на полную мощность: раздалась безумные вопли маньяка, запертого в адском подземелье с отбойными молотками и электрошоком, но когда я спросила, что это такое, она ответила с благоговейным придыханием, явно считая эту какофонию музыкой:

– Познакомься с Куртом, Декс. – Она надолго оторвала взгляд от дороги, изучая мое простодушное лицо: – Ты и правда ни разу не слышала Nirvana?

Мне был отлично знаком этот тон поддельного изумления. «Тебя и правда не пригласили к Никки на вечеринку у бассейна?» «У тебя и правда нет часов „Свотч“?» «Ты и правда еще не целовалась / не мастурбировала / не сосала / не трахалась?» Конечно, на сей раз подразумевался не завуалированный снобизм, а невысказанная жалость, что я имела несчастье или глупость так низко пасть. Но от Лэйси я выслушала бы что угодно. Потому что приняла эту жалость как должное, потому что теперь и сама осознала, насколько немислимо ни разу не слышать Nirvana, потому что почувствовала, как приятно ей распределить наши роли раз и навсегда: она – скульптор, я – глина. Там, в той машине, наматывая мили между нами и школой, между Ханной и Декс, между до и после, я больше всего на свете хотела ее порадовать.

– Ни разу, – подтвердила я и добавила, потому что того требовал момент: – Но это потрясающе.

Мы ехали вперед; мы слушали музыку. Лэйси от избытка чувств опустила стекло и принялась выкрикивать слова песни в небо...

В том «бьюике», древнем, хрипящем, загаженном птицами, я сразу же почувствовала себя как дома. Я влюбилась в него с первого взгляда, будто всегда знала, что он станет для нас убежищем – нашим общим убежищем. Что принадлежало ей, станет и моим. Его «бардачок», набитый ворохом дорожных карт, пузырьками с засохшим лаком для ногтей, магнитофонными кассетами, старыми обертками из «Бургер кинга», «аварийными» презервативами, замусоленными упаковками жвачки в виде сигарет. Его кожаные сиденья, пропахшие табачным дымом, хотя Лэйси, чья бабушка умерла от рака легких, старалась не курить.

– Он принадлежал одной ныне покойной даме, – объяснила Лэйси в первый же день. – Трижды делали химчистку салона, а все равно чертово корыто воняет куревом и подгузниками для взрослых.

Будто машина с привидением – мне нравилось.

Скоро я усвоила, что Лэйси прирожденный вожак. Она вечно придумывала какие-то поездки. Через неделю после нашего знакомства мы отправились в двухчасовое путешествие за бургерами в некую закусочную, совершенно идентичную той, которая находилась напротив нашей школы, где толпы уродов и уродок стреляли друг в друга картошкой фри, а в нас – похабными взглядами. Мы посетили: место высадки НЛЮ; митинг демократов, где притворялись фанатками Росса Перо³; митинг республиканцев, где притворялись коммунистками; могилу основателя известной компании Милтона Херши, где оставили подношение – фирменные шоколадные конфеты-«поцелуйчики»; автокинотеатр в стиле шестидесятых годов с билетерами на роликовых коньках; Музей биг-мака, оказавшийся полным отстоем. Главным поводом для вылазок служило само вождение. В тот первый день у нас не было ни цели, ни направления, мы просто наматывали круги. Хватало и движения.

Было в этот нечто восхитительно отупляющее: мы часами кружили по городу мимо одинаковых дощатых домиков и бетонных строений, полотно дня разворачивалось под колесами, и я пыталась представить, каким он ей видится, абсолютно идиллический Батл-Крик с его антикварными лавками и кафе-морожеными, пустынными витринами и проржавевшими табличками об изъятии банком заложенной недвижимости, с его воинствующим бахвальством, где каждая деланная улыбка, каждый гордо реющий флаг уверяли, что это *настоящая* Америка, исчезающая Америка, что мы – соль земли и цвет нации, что наш равнинный зеленый уголок Пенсильвании есть заповедный Эдем в современном мире, где царят насилие и грех, что местных матерей заботят лишь пироги и огородные посадки, местные отцы позволяют себе всего одну кружечку пива после обеда и никогда не лезут под юбку своим секретаршам, а сыновей и дочерей волнуют только ситкомы, и, невзирая на гормоны и открытые маечки, они понимают, что надо подождать. Когда случается ЧП и золотой мальчик сует себе в рот дуло и выбивает мозги на сырую землю, виноваты исключительно вражеские происки, или вредное влияние хеви-метала, или вербовщики-сатанисты, непременно вторжение *извне*, но никак не *мы*; когда приходит ночь, проще всего не замечать, чем занимаются дети в темноте.

Мне никак не удавалось посмотреть на свой дом ее глазами, как не удастся посмотреть на собственное отражение, будто на лицо незнакомого человека. Вот чего я больше всего боялась: что Батл-Крик и есть мое зеркало. Что Лэйси, глядя на меня, увидит наш городишко и отвергнет и меня, и его.

– Ты никогда не думала смыться? – спросила я ее. – Уехать как можно дальше, просто потому что ты можешь уехать?

Я о таком и не помышляла, по крайней мере, до этого момента; я даже не умела водить.

– Хочешь? – спросила Лэйси.

Будто можно запросто превратиться в Тельму и Луизу и навсегда покинуть Батл-Крик. Будто нынешнее положение дел существует только потому, что я выдаю ему ежедневное разрешение. Будто я способна стать другой девчонкой, собственной противоположностью, достаточно лишь сказать «да».

Может, на самом деле все было не совсем так и истина открылась мне не вдруг, вспыхнув ослепительным светом. Может, потребовалось чуть больше одной поездки на машине, чтобы сбросить кожу Ханны Декстер и превратиться в Декс – оторву, которую хотела видеть Лэйси; может, пришлось тщательно изучить «нужные» рок-группы и правильный макияж, медленно и постепенно вживаться в разгильдяйство, фланелевые рубахи и армейские ботинки, краску для волос и волшебные грибы, осмелеть настолько, чтобы нарушить хотя бы парочку заповедей, но запомнилось мне по-другому. Да и было по-другому. Было вот как: я сделала выбор в пользу Декс прямо там, в машине. И значение имел только сам факт принятого решения. А остальное – дело техники.

³ Консервативный политик, независимый кандидат в президенты в 1992 и 1996 годах.

– Поедем прямо и к полуночи будем уже в Огайо, – сказала Лэйси. – А через день-два – в Скалистых горах.

– Мы направляемся на запад?

– Разумеется, на запад.

На западе, сказала Лэйси, был Фронтир⁴. Запад – рубеж цивилизации, край света, место, куда бегут в поисках золота, Бога или свободы, там ковбои и кинозвезды, землетрясения и доски для серфинга, и безжалостное солнце пустыни.

– Ну как, хочешь?

В том году Лэйси трижды, словно искусительница из сказки, предлагала мне уехать с ней, и каждый раз я говорила «нет», воображала себя умницей и отказывалась поддаться искушению и пуститься во все тяжкие. Не понимая, что «все тяжкие» поджидают меня в Батл-Крике – что опасность совсем рядом.

Но в тот раз я не сказала ни «нет», ни «да». Только рассмеялась, поэтому вместо Фронтира, моря или земли обетованной она привезла нас к озеру. Всего двадцать миль от города, семейный пляж, рыбацкий причал, заросли тростника и укромные местечки для влюбленных, грязная подстилка из пустых пивных банок для всех остальных. В тот день там было пусто, только тишина и простор, голые ветви, нависающие над серым побережьем, безлюдные мостки, с которых призраки детей прыгали на невидимые плоты и ныряли в сверкающие волны. Стояла зима, и она принадлежала только нам. Я уже бывала здесь раньше, всего пару раз, потому что мать терпеть не могла пляжи, а отец – воду, что делало натужный «семейный выезд на природу» еще более жалким, чем обычно. Строя песчаные замки на пляже, забитом детьми из рекламы товаров для активного отдыха, валяющимися под пляжными зонтиками и сигающими в воду с отцовских плеч, я всегда чувствовала себя худшей половиной дуэта из комиксов про Гуфуса и Таланта. Талант строит замок со рвом; Талант закапывает мамашу в песок; Талант изображает утопленницу, качаясь на волнах, и ходит на руках по илистому озерному дну. Гуфус лежит на полотенце с книжкой, пока мать с карандашом в руках просматривает рабочие документы, а отец открывает очередное пиво; Гуфус учится держаться на воде и гадает, кто ее спасет, если она начнет тонуть, потому что родители плавать не умеют.

Лэйси заглушила мотор и выключила музыку, окунув нас в неловкое молчание.

Она глубоко вздохнула:

– Зимой здесь отлично. Кругом мертво. Как будто погружаешься в стихотворение, понимаешь?

Я кивнула.

– Ты пишешь? – спросила она. – По тебе видно. Что ты пишешь.

Я снова кивнула, хотя к действительности это имело самое отдаленное отношение. У меня где-то завалилась стопка заброшенных дневников – толстых тетрадок с парой высокопарных предложений на первой странице и сотнями пустых листов, каждый из которых напоминал, что мне практически нечего сказать. Я предпочитала слова других людей, истории других людей. Но для Лэйси я готова была стать девушкой, которая пишет собственную историю.

– Вот видишь! – торжествуя воскликнула она. – Я тебя совершенно не знаю, но такое ощущение, что мы уже знакомы. У тебя тоже так?

Хотя почти все мои слова с тех пор, как мы сели в машину, были угодливой ложью, *ощущались* они правдой. Казалось, будто Лэйси хорошо меня знает, во всяком случае – хорошо знает ту, кем я хотела быть; с каждым своим вопросом она вдыхала жизнь в новую меня, и ей было совершенно ясно, что она знает эту девушку вдоль и поперек. Знание – прерогатива создателя.

– Какое число я задумала? – спросила я.

⁴ Историческая зона освоения так называемого Дикого Запада в США.

Она сощурилась, прижала пальцы к вискам, типа «изобразим ясновидящую»:

– Никакое. Ты думаешь о том, что произошло в школе.

– Вовсе нет.

– Брехня. Думаешь, но изо всех сил стараешься не думать, потому что, если дашь себе волю, растрaviшь себя, то начнешь рыдать, вопить, полировать кастет – и выйдет сплошной бардак. А ты ненавидишь бардак.

Не очень-то приятно быть настолько предсказуемой.

– Чего ты боишься, Декс? Ты бесишься, реально бесишься, чего уж хуже? Думаешь, по твоему велению у Никки Драммонд мозг потечет из ушей?

– Наверное, мне лучше пойти домой, – сказала я.

– Господи, да ты посмотри на себя. Вся бледная, задерганная. Как следует распахнуться иногда полезно. Клянусь.

Я хотела возразить, что тут нет логики. Глупо вот так злиться. Дело ничем не кончилось, нет смысла себя распалать.

Нет смысла страдать.

– Заткни киску тампоном, – повторила я вслух: вдруг это поможет изгнать беса. Выжечь его из своей души каленым железом.

– Что-о?

– Это она так сказала. Никки. Сегодня.

Лэйси присвистнула.

– Хреново. – И она расхохоталась, но смеялась вовсе не надо мной. Я была в этом уверена. – Маленькая мисс Главная Похабница. Какое убожество.

А потом, самым чудесным образом, мы рассмеялись уже вместе.

– Знаешь, зачем я привезла тебя сюда? – спросила она наконец, когда мы успокоились.

– Чтобы заанализировать меня до смерти?

Она понизила голос до шепота серийного убийцы:

– Потому что здесь никто не услышит твоих воплей.

Пока я гадала, ждет ли меня третий акт поучительной пьесы «не садись в машину к незнакомцу, а не то твой изуродованный труп найдут в озере», Лэйси подошла к кромке воды, закинула голову и заорала. Это было прекрасно: восхитительный шквал праведного гнева, и мне захотелось испытать такой же.

Вопль закончился, и она повернулась ко мне:

– Твой черед.

Я попробовала.

Заняла место Лэйси, ступив кедами точно на отпечатки ее ботинок. Оглядела поверхность воды, усеянную льдинами, в мерцании которых было что-то первобытное. Проследила за паром, выходящим изо рта, и сжала в кулаки руки в перчатках – чтобы согреться, чтобы собраться с силами.

Я стояла у кромки воды, и мне очень, очень хотелось заорать ради нее. Доказать ей, что она права и мы с ней похожи. Я ощущаю то же, что она. И сделаю то, что она скажет.

Но вместо этого я чувствовала себя глупо, и ничего не получилось.

Лэйси взяла меня за руку. Наклонилась, прижалась головой мне ко лбу:

– Мы над этим поработаем.

На следующее утро Никки Драммонд нашла в замочной скважине своего шкафчика окровавленный тампон. Днем она проследовала за мной в женский туалет и прошипела:

– Что за херня с тобой творится? – пока мы обе мыли руки, стараясь не смотреть друг на друга в зеркале.

– Сегодня, Никки? – И я взглянула на нее, Горгону моего детства, но не окаменела. – Сегодня ровно никакой херни.

Лэйси. До встречи с тобой

Если ты и правда хочешь знать абсолютно все, Декс, – хотя я больше чем уверена, что такого тебе не переварить, – то знай: раньше я была точь-в-точь как ты. Может, не точь-в-точь – не настолько активно зажимивалась, чтобы не видеть вещей, которые меня бесят, – но типа того. Понимаю, тебя просто убивает, что я существовала и до тебя, но куда круче тебя убьет – порубит на мелкие кусочки, как маньяк, и сунет ошметки в морозилку, – что я была вроде тебя, коротала выходные под filmy на кабельном и прогорклый попкорн, пиялилась на звезды – «ах если бы, ах если бы, не жизнь была б, а песня бы».

Мы жили рядом с пляжем.

Нет, это еще одна милая сказочка из тех, которыми я тебя кормлю, которыми кормят легковых жмотов застройщики и захудалые турагенты, которыми утешались наши отцы-основатели, давая скопищу дерьмовых сетевых заправок и торговых центров гордое имя Шор-Вилледж⁵, хотя до самого убогого пляжика Джерси было аж двадцать минут езды. Мы жили рядом с «Блокбастером»⁶, дешевой забегаловкой и пустырем, где субботними утрами блевала алкашня, а в остальное время гадили бродяги. Мы жили сами по себе, вдвоем, хотя по большей части я вообще сидела одна, потому что между работой официантки, фанатскими турами и пьянками-гулянками остается маловато времени для материнских обязанностей, и когда я достаточно подросла, чтобы поджарить себе яичницу, не спалив при этом дом, Лоретта начала оставлять меня дома с кошкой. Через несколько месяцев кошка удрала, но Лоретта ничего не заметила, а я не решилась ее просветить.

Бедненькая Лэйси, думаешь ты сейчас. Бедненькая недолюбленная Лэйси при никудышной матери и проходимце отце, и потому-то я и не рассказываю тебе про такое, ведь у тебя или красивая сказочка, или слезоточивое кино по кабельному; или цветное, или черно-белое. А я не желаю, чтобы ты представляла меня в крошечном аду или в замызганном трейлере, не желаю твоих «Ой, Лэйси, до чего же тяжело тебе пришлось!», «Ой, Лэйси, бедняжка, сколько же ты выстрадала!», «Ой, Лэйси, а как выглядят продуктовые карточки и каково жить изгоем?», и хуже всего: «Ой, Лэйси, не волнуйся, я тебя понимаю; пусть у меня были и дом, и папочка, и гребаное благополучие, как с картинки, но в глубине души я точно такая же, как ты».

Я довольствовалась тем, что мне досталось, а достались мне запах океана, если ветер дул в правильную сторону, и пляж, и песок, и мягкое мороженое, и возможность добраться туда автостопом. По-моему, когда живешь у воды, то и взрослеешь совсем по-другому. Взрослеешь, понимая, что выход есть.

Для меня выходом стал девятнадцатилетний хиппарь с сальными космами и в красной куртке-бомбере, как у Джеймса Дина. Он оккупировал пустую квартиру над нами, потому что его мать была комендантшей и дала ему ключ. Само собой, он читал Керуака. А может, и не читал, а в стратегических целях раскладывал книжку на коленях, когда дремал в одном из дурацких стальных стульев, которые он расставил на пустыре, в своем личном солярии. И уж точно он не читал Рильке, Ницше, Гете и прочие заплесневелые томики, мимо которых мы бродили туда-сюда, пока я давила его вишневым водкой, а он учил меня курить. Он ограничился аннотациями на обложке, даже в свои невинные пятнадцать лет я это понимала, хотя могу поверить, что Керуака он все-таки осилил, потому что Джек говорил на одном с ним языке, на вычурном, убогом, нимфоманском жаргоне наркоманов.

Его звали Генри Шефер, но он велел называть его Шай, и даже не сомневайся, Декс, уже тогда, сопливой дурочкой, я понимала, что любовью тут и не пахнет. Любовь – это, наверное,

⁵ Прибрежный поселок (англ.).

⁶ Крупная сеть магазинов проката видеофильмов и компьютерных игр.

кипы книг у меня в комнате, и пиратские альбомы, которые он мне таскал; это путешествие по Скулкиллу⁷ в его потрепанном «олдсмобиле», когда на горизонте маячит Филадельфия; это Саут-стрит, кальянные лавки, ночные поэтические дуэли в прокуренных загаженных конурках, это горячка после первой дозы ЛСД, соленый привкус собственной ладони, которую я лизнула, пробуя себя на вкус. Любовь – это не то, к чему Шай принуждал меня в маминой спальне, когда сама она свалила из дому в надежде переспать с чуваками из Metallica, подробный инструктаж относительно угла и положения пальцев, почерпнутый им из «Космо» пополам с порнухой; это не вязкая сперма у меня во рту, не боль в заднем проходе, когда туда суют палец, и уж конечно не тот день, когда я застала его с подружкой, которой он засовывал в ухо язык, а потом, на следующую ночь, притворялась, что с самого начала предполагала наличие другой и не обольщалась насчет наших отношений, что никаких обид, никакого паскудства, и никаких причин, по которым он не может коротать время со мной, пока она занята, – и да, пусть я скажу спасибо, что он всегда надевает презерватив, какие мне еще нужны доказательства его заботы обо мне.

Вряд ли тебе захочется такое знать. Вряд ли захочется знать, что я штудировала те книжки, во всяком случае поначалу, чтобы произвести на него впечатление. Что я жила ради тех вечеров, когда он наливал мне паршивого вина из коробки в стеклянную кружку в виде консервной банки и называл меня мудрой не по годам, говорил, что может заглянуть в самые глубины моей души. Что я слушала Jane's Addiction и The Stone Roses, поскольку, по его словам, так положено, так и делают классные ребята вроде нас – те, кто умнее и выше наших захламленных ничтожеств, и когда он спрашивал: а правда ведь детский пушок у него на верхней губе выглядит круто, я соглашалась, хотя про себя думала, что его подружка права: из-за этого пушка рот у него похож на подростковую щелку, однако он провел ту ночь со мной, а не с подружкой, и остальное не имело значения, но все-таки, Декс, я знала, что это не любовь.

Больше всего он мне нравился, когда спал. Когда в темноте он прижимался ко мне, сквозь сон целуя в шею. В темноте можно представить себе кого угодно.

Это было до того, как у матери отобрали права и она сделала меня своим личным водителем, до периода возрождения, когда она обрела новую жизнь в любящих объятиях «Анонимных алкоголиков», а потом снова старую жизнь в объятиях Нечистого и его Господина; это было, когда она меня не замечала, а потом вдруг спрашивала, почему я такая дура, запираюсь у себя, слушаю на повторе «Broken Face» и читаю Энн Секстон, вместо того чтобы шляться по мужикам, как нормальная девчонка, и челка-то у меня свисает до земли, и сиськи-то стянуты, и кем это я себя возомнила, и как у нее могла получиться такая дочь, и все такое прочее. Или же у нее просыпалась потребность во мне, когда она, тише воды, прокрадывалась домой среди ночи, пропахшая тем, о чем мне знать не полагалось, липкая от чужого пота, залезала ко мне в постель и шептала, что ей очень стыдно, что мы с ней одни во всем мире и никто нам больше не нужен, а я притворялась, что сплю.

С Шаем было по-другому, чуть лучше. Шай дал мне лучшую жизнь, пусть и ненамного. Я мечтала, как мы с ним сбежим. Пошлем нахрен его подружку. Станем Керуаком и Кэссиди, будем колесить по стране, глотнем Тихого океана и сразу метнемся обратно на восток, беспечные ездоки, покорители дорог. Я верила: мы оба понимаем, что там, где бы то ни было, всегда лучше, чем тут, и точно так же верила, что он бросил школу, поскольку подлинный ум не признает рамок, и позволяет родителям содержать себя, поскольку пишет роман, а высокое искусство требует жертв. Я показала ему свои дерьмовые стишки и поверила, когда он назвал их прекрасными.

Шай не имел значения. Начинаящий наркоман, нанюхавшийся дешевого клея в поисках трансцендентности, Шай был карикатурой на самого себя, как вещь, заказанная по каталогу;

⁷ Река в Пенсильвании.

естественно, он цитировал Аллена Гинзберга; естественно, он нажирался в сопли; естественно, он курил ароматизированные сигареты и подводил глаза, а его подружка-стеклодув по имени Уиллоу к Валентинову дню сделала ему бонг для курения гашиша. Шай имел значение только по одной причине: однажды мы зависали в мансарде у его друга, в квартале от Скулкилла, и когда мы уже здорово набрались, кто-то выключил игру «Филлисов», врубил 91,7 FM, и там был он.

Курт.

Курт орущий, Курт бушующий, Курт в агонии, Курт в блаженстве.

– Хреновы псевдопанковские позы, – проворчал Шай, и его друг, владелец мансарды, травы и татушки с мультяшной птичкой Твити на заднице, изобразил фальшивый зевок и потянулся к приемнику, чтобы выключить его, а когда я взмолилась: «Пожалуйста, оставь!» – Шай только заржал, и хотя у меня ушла целая неделя, чтобы отыскать эту песню и стащить альбом «Bleach», а потом еще несколько недель, чтобы выкурить Шая из своей жизни, именно в тот момент он из малозначимой величины превратился в полный ноль.

А дальше было точь-в-точь как рассказывают про любовь: в омут с головой. Гравитационная неизбежность. В любой, самой убогой глухомани найдется хотя бы один приличный музыкальный магазин с огромной коробкой уцененки и бутлеггов; потребовалось всего тридцать баксов и словесная перепалка с ходячим прыщом за прилавком, чтобы положить начало моей коллекции. После чего я закрылась у себя комнате и, не считая периодических набегов в вышеозначенный магазин и одной весьма обременительной вылазки к черту на кулички, провела весь тот год, а потом и следующий, наверстывая упущенное: Melvins, потому что это была любимая команда Курта; Sonic Youth, потому что они помогли Курту с контрактом; Pixies, потому что когда хоть что-нибудь знаешь о гранже, то понимаешь, откуда все идет; Дэниел Джонстон – из-за футболки Курта и еще потому, что он побывал в психбольнице и, по моему мнению, заслужил привилегии; и, само собой, Bikini Kill за неистовство правоверных riot grrrl⁸ и Hole, потому что мне казалось, что иначе Кортни заявится ко мне домой и от души навалит по башке.

А потом, будто Курт точно знал, когда и что мне надо, появился «Nevermind». Я забаррикадировалась у себя, пока не выучила наизусть каждую ноту, каждый такт, каждую паузу, прогуливая школу в целях получения *высшего* образования.

Я обожала этот альбом. Обожала, как обожают шекспировские сонеты, открытки «Холл-марк» и тому подобное дерьмо; мне хотелось купить ему цветы, зажечь свечи и нежно и долго его трахать.

Вовсе не хочу сказать, что в минуту задумчивости я выводила в тетрадке «Миссис Курт Кобейн» или, того хуже, представляла, как появляюсь у него на пороге в черных кружевных трусиках и плаще, потому что, во-первых, Кортни выцарапала бы мне глаза колючей проволокой. А во-вторых, я знаю, что возможно, а что нет, и перепихон с Куртом – это НЕвозможно.

И все-таки: Курт. Курт с его водянистыми голубыми глазами и ангельскими волосами, ореолом светлой щетины и манерой ее потирать, воспламенит кого угодно. Курт, который спит в полосатой пижаме с игрушечным мишкой в обнимку, который взасос целуется с Кристом Новоселичем на национальном телевидении, чтобы позлить обывателей, и надевает женское платье на телепрограмму «Бал металлистов», просто потому что ему так хочется, у которого достаточно денег, чтобы купить и разбить сотню крутейших гитар, но он предпочитает «фендер мустанг», поскольку этот дешевый кусок дерьма нужно не только лелеять, но и поколачивать, если хочешь его уважить. Бог рока, бог секса, ангел, святой – Курт, который всегда смотрит исподлобья, из-под этой своей золотистой челки, смотрит так, будто знает, какие страсти кипят у тебя внутри, будто ему ведома твоя боль и она ранит его еще сильнее. Его манера шуриться,

⁸ Андеграундное феминистское движение в панк-роке 1990-х.

когда он поет, словно ему невыносимо смотреть, но и противно прятаться в темноте; словно полуприкрытые веки и затуманенный взгляд смягчат страшную правду о мире. Его голос, западающий в душу. Я могла быть жить и умереть внутри этого голоса, Декс. Хочу нырнуть в него, в этот нежный и одновременно острый как бритва голос, вспарывающий меня насквозь, приносящий мучения, теплый, вкрадчивый, живой. Мне не нужно, чтобы Курт – настоящий, реальный, привязанный к Кортни, – швырнул меня на постель, откинул с глаз непослушные пряди и накрыл меня своим обнаженным телом с полупрозрачной мерцающей кожей. Такой Курт мне не нужен, потому что у меня есть его голос. И часть его принадлежит мне, вот что действительно важно. Этот Курт принадлежит мне. Как и я принадлежу ему.

Знаю, тебе он не нравится, Декс. Ужасно мило, что ты пытаешься это скрыть, но я ведь вижу, как ты поглядываешь на плакат с ним, будто ревнивый бойфренд. Даже смешно. И совершенно не нужно. Ведь что я чувствовала, когда нашла Курта? То же самое, как когда нашла тебя.

Декс. Наша история

Ботинки из толстой черной кожи с каучуковыми каблуками, прошитыми желтой нитью подошвами, восемью отверстиями для шнуровки и плотными шнурками – классические «мартинсы», в точности как у Лэйси, но – мои.

– Правда? – Я боялась даже дотронуться до них. – Не может быть.

– Может. – У нее был такой вид, будто она подстрелила медведя, взвалила тушу на плечо и самолично притащила в нашу пещеру, чтобы зажарить нам на обед; во всяком случае ощущение было именно такое. Добыча. – Примерь-ка.

За две недели я достаточно хорошо изучила Лэйси, чтобы не спрашивать, откуда ботинки взялись. Она была приверженцем равноправия, как она это называла, то есть распределения материальных благ между тем, кому они мечтали принадлежать. Эти ботинки, объяснила Лэйси, мечтали принадлежать мне. То есть Декс.

А такой была сама Декс: пряди, крашенные дешевой рыжей краской из супермаркета, черный кожаный чокер на шее, безразмерные фланельки из секонд-хенда, надетые поверх клетчатых платиц в стиле «бэбидолл», алые колготки – и вот теперь, для полного комплекта, черные армейские ботинки. Декс знала про гранж и Сиэтл, про Курта и Кортни, про Sub Pop⁹, про Эдди, Криса и Дэйва, а если чего и не знала, могла прикинуться, что знает. Декс прогуливала занятия, пила алкогольные коктейли, а домашним урокам предпочитала уроки Лэйси: изучала гитарные риффы, корпела над философией и поэзией, дрожа, вечно дрожа, что Лэйси поймет свою ошибку. Ханна Декстер стремилась быть невидимкой и следовала правилам. Никогда не врала родителям – не было нужды. Боялась того, что подумают о ней люди, и вообще не хотела, чтобы люди о ней думали. Декс жаждала, чтобы ее заметили. Декс нарушала правила, лгала, у нее были свои тайны; Декс была дикаркой – или стремилась ею быть. Ханна Декстер верила в добро и зло, справедливый миропорядок. Декс выработала собственные понятия о справедливости. Чему ее научила именно Лэйси.

Это не преобразование, объясняла Лэйси. Всего лишь прозрение. «Притворство тебе не подходит, – объясняла Лэйси. – Ты не создана для мира, где надо скрывать свою истинную сущность». Я так долго пряталась, что забыла, где себя искать. И Лэйси пообещала, что найдет меня: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать».

– Знаю, ты считаешь меня самым щедрым человеком на свете, – сказала Лэйси, пока я зашнуровывала ботинки. – И думаешь, что тебе жутко повезло, раз уж я соизволила поделиться с тобой своим непогрешимым вкусом.

– Ага, я прямо главный приз в лотерее ухватила, – заметила я с сарказмом, удачно маскирующим истину. – Каждую ночь перед сном возношу хвалу вселенной.

В тот день она впервые появилась в моем доме. Я бы с радостью перенесла этот визит как можно дальше – не потому, что мне было что скрывать, а как раз наоборот. Я смотрела на свое жилище глазами Лэйси и видела добропорядочный двухэтажный дом, полный тихого отчаяния, семейный очаг для людей без всяких устремлений, кроме желания жить той жизнью, которую показывают по телевизору. Бежево-коричневые полосатые обои, старенький бабушкин кофейный столик с книжками издательства «Тайм-Лайф» и фотографиями в рамках, на которых запечатлены никогда не виденные нами пейзажи. Присутствие Лэйси делало интерьер не просто предосудительным, но прямо-таки невыносимым.

Ранее Лэйси рассказала мне о тотальных несоответствиях, качествах, столь противоположных друг другу, что существование одного исключало самую возможность другого. Я усвоила эти рассуждения не лучше прочих ее головоломных теорий, которые она любила развивать,

⁹ Сиэтлский музыкальный лейбл, выпустивший первые гранжевые записи.

считая, что постижение мира во всем его таинственном своеобразии служит ключом к возможности подняться над нашим мещанским зомби-адам, но присутствие Лэйси в моей спальне я расценивала как их красноречивейшую иллюстрацию: тяжелые ботинки Лэйси топчут бирюзовое ковровое покрытие, ее взгляд презрительно скользит по игрушечной черепашке, которую я до сих пор хранила под подушкой, – прошлое и будущее Ханны Декстер сходятся в неизбежном коллапсе, материя и антиматерия обваливаются в черную дыру, которая поглощает нас обеих. Короче говоря, я была уверена: увидев меня в естественной среде обитания, Лэйси исчезнет.

– У твоих родаков есть бар? – спросила она. – Давай-ка его проинспектируем.

Бар, разумеется, был не заперт. Родители не сомневались, что мне можно доверить замшелые останки бренди, скотча и дешевого вина. Отец любил пиво, мать вообще не употребляла спиртного – бар держали для гостей, которых у нас никогда не бывало. Может, именно новые ботинки придали мне смелости спуститься вниз и показать Лэйси темную пыльную расщелину между забытыми настольными играми и нечитанными книжками «Тайм-Лайф», где обитали бутылки.

– Скотч или ром? – предложила я, надеясь, что удалось создать видимость, будто я понимаю разницу между ними.

– Того и другого понемножку.

Она показала мне, как отлить по дюйму-два из каждой бутылки, на всякий случай возмев содержимое водой до прежнего уровня. Потом мы смешали по капельке каждого напитка в единственном стакане и с трудом сделали по глотку.

– Божественный нектар, – выдавила Лэйси, кое-как откашлявшись.

Я снова глотнула обжигающей смеси. Пламя приятно грело.

Ковер в гостиной был ярко-оранжевый в коричневую полоску, и пока Лэйси не разлеглась на нем, раскинув руки-ноги и пробормотав: «Неплохо», он казался мне отвратительным. Теперь же, с ее одобрением и в приятном подпитии все представлялось именно таким, как она и сказала. Совсем неплохо. Я распласталась рядом с ней, наши пальцы рук соприкоснулись с электрическим треском, мы мариновались в «божественном нектаре» и горячем сухом воздухе, извергавшимся вентилятором. Нас захлестывали диссонансные аккорды свежего бутлега, купленного Лэйси, и я пыталась расслышать в них гудки обещанного ею корабля, который увезет нас далеко-далеко.

– Надо основать клуб, – сказала Лэйси.

– Но клубы – это отстой, – полувопросительно откликнулась я.

– Точняк!

– Тогда...

– Я же не про шахматный клуб, Декс. Или типа: давайте читать старикам, пригодится для поступления в колледж. Я говорю про *клубный* клуб. Ну, знаешь, как в книжках. Домик на дереве, условные знаки и прочая фигня.

– Как в книге «Мост в Терабитию».

– Давай притворимся, будто я знаю, что это такое, и скажем... да.

– Но чтобы у нас никто не умирал.

– Да, Декс, чтобы у нас никто не умирал. Ну... во всяком случае, никто из клуба.

– Лэйси!

– Шучу. С клятвами на крови, но без кровавых жертвоприношений.

– И что мы будем там делать? В клубе ведь полагается что-нибудь делать.

– То есть помимо принесения в жертву девственниц?

– Лэйси!

– Клубы отстой, потому что там маются всякой дурью. Но не в нашем клубе. У нас будет... онтологический клуб.

– Клуб, где изучают природу бытия?

– Вот видишь, Декс, за это я тебя и люблю. Разве в нашем дерьмовом городишке найдется еще хоть один человек, который знает, что такое «онтология»?

– Ну, просто мы проходили ее по истории в прошлом го...

– Но ты же просекла! Ты просекла, почему эта штука так важна.

– Ну... наверное.

– Давай же, Декс, скажи. От тебя не убудет.

– Что сказать?

– Что ты тоже за это меня и любишь.

– Я тоже за это...

– Меня и любишь.

– Тебя и люблю.

– Президентом клуба, ясное дело, буду я. А тебя назначим вице-президентом, секретарем и казначеем.

– И никаких других членов, кроме нас.

– Разумеется. Подумай, Декс. Мы сможем вместе читать Ницше, Канта, Керуака; вместе размышлять, почему люди поступают так, а не иначе, или откуда взялись гравитация или зло, или почему вселенная не пуста и существует ли Бог; уходить в лес и рубить Курта на полную; закрывать глаза и пытаться, ну не знаю, заряжаться жизненной силой или типа того. А если это будет раздражать людей, то вообще круто.

– То есть в основном будем заниматься тем же, чем и теперь?

– В основном.

– Без всяких там регулярных заседаний.

– Угу.

– И без всякого помещения для клуба.

– Будто ты знаешь, как построить клуб.

– А как насчет клятвы на крови?

– Здравствуй, СПИД?

– Но ты ведь на самом деле не думаешь, что...

– Клятва на крови – это метафора, Декс. Не тормози.

– То есть вроде как ненастоящий клуб.

– Нет, Декс, ненастоящий. Настоящие клубы для лохов.

Если бы мы действительно основали клуб, оставив в стороне возвышенные устремления, онтология отошла бы в тень, уступив главное место разбору и анализу многочисленных злодеяний нашего общего с Лэйси врага – Никки Драммонд. Проведя в Батл-Крике всего полгода, Лэйси отчего-то успела проникнуться к Никки почти такой же враждебностью, как я за предыдущие четырнадцать лет, но отделялась лишь самыми расплывчатыми объяснениями вроде: «Разве нужны причины ненавидеть дьявола?»

Лично у меня имелось множество причин, начиная аж с пятого класса, когда Никки стащила у меня из рюкзака дневник и пустила его гулять по детской площадке, основав клуб «Я ненавижу Ханну» с неограниченным членством. Не прошло и трех месяцев, как моя лучшая подруга вступила в шайку Никки ради вечеринки у бассейна в честь окончания учебного года, а когда я напомнила ей, какая Никки дрянь, округлила глаза: «Ты серьезно? Это было сто лет назад. Забей уже». А когда настал сентябрь и я оказалась единственной, кто «сто лет назад» и кто «забил», тогда как Алекса, сидя за обедом рядом с Никки, выбалтывала ей на ухо все мои секреты, я подумала: может, я сама виновата, потому что окрысилась, затаила обиду, была слишком требовательной подругой? Но я ничего не могла с собой поделать. До сих пор не понимаю, почему время служит законным основанием для прощения.

Мне было одиноко в роли той, кто все помнит. Наблюдая возвышение Никки, а потом, вследствие кровавой кончины Крэйга, и ее вознесение, когда учителя из кожи вон лезли, чтобы

облегчить ей участь, а девочки, которых она раньше доводила до бритвы и слабительных, гладили ее по головке и уверяли, что все будет в порядке, я словно угодила в очередную серию «Сумеречной зоны»: единственный нормальный человек в обезумевшем мире. До появления Лэйси. Дело не только в том, что взгляды у нас совпадали, – скорее, она еще больше полюбила меня благодаря моим взглядам.

– Никки социопатка, – объявила теперь Лэйси, болтая ногами в воздухе. – Ноль эмоций. Небось и мелких зверюшек убивает ради забавы. И мочится в постель. Ну, знаешь, три признака серийного убийцы.

– А что, серийные убийцы мочатся в постель? Выходит, Джеффри Дамеру, который умудрился незаметно хранить у себя в холодильнике расчлененные трупы, приходилось носить подгузник?

– Наверное, они писаются в кровать только в детстве. Но... Никки в подгузнике! Только представь, если такая хохмочка выйдет наружу!

Это была наша излюбленная тема: вот бы вывести Никки на чистую воду, вот бы мир узнал правду о ее гнилом нутре. Вот бы заполучить аргументы для лобовой атаки.

Накануне, плюхнувшись на потрепанные сиденья в актовом зале и игнорируя лекцию на тему «Безопасный секс в пьяном виде в процессе приобретения наркотиков у сатанистов» или типа того, мы вдруг обнаружили, что сидим прямо за Никки, и начали мысленно метать молнии в ее прелестную головку. Потом принялись шептаться, причем довольно громко.

– Ты слышала, что она трахнула в учительской Майка Кросса? – говорила Лэйси.

– Кажется, это был Энди Смит, – возражала я.

– Нет, с Энди было в женской раздевалке.

– Точно. Недолго и запутаться.

– А представь, каково ей самой.

– Мне вообще не верится, что у нее есть чувства.

– Ну, может, она больна. Хотя вообще-то активная половая жизнь – это нормально.

– Ясное дело.

– И все-таки, по-моему, попытки добиться популярности через постель выглядят печально.

– Даже трагично.

– Вот где трагедия: с помощью секса она старается забыть, какая она жалкая сучка.

– Думаешь, помогает?

– Только если она не в курсе, кем ее после этого считают.

– Настоящая подруга откроет ей глаза.

– Сомневаюсь, что у нее такая есть.

– Интересно, почему.

Она так и не обернулась. Никки Драммонд была не из тех, кто легко сдается. Но ее упорство лишь подзадоривало нас.

В тот день у меня дома, хорошенько приняв на грудь, мы лежали на ковре и мечтали о скрытых камерах, шпионских «жучках» и подпольных записях, которые изобличат грехи Никки перед ее любящими родителями, восхищенными учителями и исходящими слюной придурками, выстроившимися в очередь, чтобы занять добровольно покинутое Крэйгом место в ее постели. За такими рассуждениями, музыкой Курта и странным поведением потолка, который закачался перед глазами, когда я слишком пристально уставилась на него, я не заметила шума подъехавшей к дому машины, хлопка входной двери, шарканья отцовских мокасин по полу и других признаков его появления, пока он не склонился над нами со словами:

– Рад видеть, что от коврового покрытия есть толк, барышни.

– Тебя же не должно быть дома. – Я села слишком резко, пришлось сразу снова прилечь, и тут меня обуяла паника: отец пришел, а здесь Лэйси, и мы с ней пьяные, я-то уж точно, и

он непременно заметит, и разразится скандал – один из тех мерзких пошлых скандалов, после которых меня заклеят как «черную овцу», а Лэйси навсегда выпрут из нашего дома, и если не справится отец, то знамя скандала подхватит мать, как только ей донесут на меня.

Но подспудно в глубине души вспыхнули сияющие во тьме глаза зверя, заповедные и спокойные: я пьяна, и это здорово, а если кому-то не нравится – пусть катятся ко всем чертям.

Отец взял Лэйси за руку и помог ей подняться:

– Видимо, тебя я и должен поблагодарить за появление музыки в жизни моей дочери.

– Что? – поразила я.

Он усмехнулся:

– То есть если это можно назвать музыкой.

И тут они мгновенно сцепились, напрочь забыв про меня. Лэйси яростно бросилась на защиту своего бога, отец сыпал терминами вроде «новая волна», «постпанк», «поп-авангард», и оба они жонглировали совершенно незнакомыми мне именами: Иен Кертис, Дебби Харри, Роберт Смит...

– Джоуи Рамон недостоин лизать ботинки Курта Кобейна!

– Ты бы так не говорила, если бы видела его вживую.

Глаза у Лэйси округлились:

– Вы видели Района вживую?

– Что? – снова пискнула я, поборов желание запрыгнуть к папе на колени, дыхнуть ему в лицо перегаром, заставить посмотреть на меня.

– Видел? – Он одарил Лэйси фирменной улыбкой Джимми Декстера. – Да я у него на разогреве выступал.

– Ты играл в группе? – воскликнула я.

Но меня никто не услышал. И никто не предложил мне галантно руку, так что я кое-как поднялась самостоятельно, стараясь не блевануть.

– Вы разогревали The Ramones? – Таким голосом Лэйси говорила о Курте, с благоговейным придыханием.

– Ну, строго говоря, не совсем. – Еще одна улыбка, пожатие плечами, мол, прости. – Мы играли перед Ravers, а вот они как раз были на разогреве у The Ramones – но зато нас позвали на афтепати. Выпить с Джонни.

– Лэйси играла в группе, – вставила я.

Лэйси сама мне выложила: группа называлась The Pussycats, как в мультсериале «Джози и Кошечки», исключительно девчонки с гитарами наперевес, всему учились на ходу, губы Лэйси вплотную к микрофону, мокрые от пота волосы липнут к лицу, она обводит взглядом толпу, позволяя качать себя на волнах любви. На сцену больше ни ногой, уверяла она, ни ногой здесь, в Батл-Крике, ни ногой в любом другом месте, это и тогда была ошибка, а теперь и подавно, теперь слишком поздно. «Думаешь, в нашей глухомани разбираются в гранже? – говорила Лэйси. – Всякие придурки вроде Энди Смита считают гениальной шуткой ткнуть какую-нибудь бедняжку носом себе в подмышку и заорать: „Пахнет юностью, крошка!“¹⁰ Вот тебе и доказательство. Все равно как с теми звездами, которые взрываются в такой невообразимой дали, что, пока до нас дойдет их свет, они уже миллион лет как погибли. Мы опоздали. Мы всё пропустили. Потому что главное – сказать что-то новое. Сотворить нечто из ничего. Ведь песня – не просто сумма частей, ее составляющих, понимаешь? Не просто упорядоченное сочетание пауз и звуков. Так и группа – не просто несколько ребят, играющих на нескольких инструментах. Это должны быть правильные ребята с правильными инструментами, играющие правильные ноты в правильной последовательности. Nirvana не Nirvana, пока Курт, Дэйв и Крист не соберутся вместе, не настроются и не создадут то, чего раньше не было. *Творчество*. Только

¹⁰ «Smells Like Teen Spirit» – песня Nirvana.

настоящие убожества могут претендовать на звание артиста, ограничиваясь чужими достижениями. А я не намерена быть убожеством».

Я завидовала группе Лэйси, тем девочкам, которые были ее «кошечками», страдала, что мне не стать одной из них, но и радовалась тоже, поскольку знала, что не смогу выступить, и если бы Лэйси опять собрала группу, то неизбежно отдалилась бы от меня.

– Расскажи ему про свою группу, Лэйси!

Но она не хотела рассказывать, а может, даже не услышала меня; она хотела слушать только его.

– *Какой* он был? – спросила она. И на выдохе: – Джонни Рамон.

– Пьяный. И вонял как дерьмо собачье, но, бог ты мой, он подарил мне свой медиатор, и я собирался соорудить алтарь для этой штуки.

– А можно посмотреть? – спросила Лэйси.

Папа слегка покраснел:

– Я потерял его по пути домой.

Я откашлялась.

– А когда это ты играл в группе? И почему я ничего не знала?

Он снова пожал плечами:

– Ты была совсем маленькая. Давно дело было. В другой жизни.

Мама слушала музыку только в машине, и только Барри Манилоу и Майкла Болтона, а в игривом настроении – Eagles. Папа за рулем предпочитал либо спортивный канал, либо тишину. У нас была стереоустановка, которой никто не пользовался, и ящик с пластинками в подвале, они так покоробились от сырости и запылились, что в прошлом году мы их даже не стали выставлять на дворовую распродажу старья. Семейство Декстеров не интересовалось музыкой. Вот только папа говорил о ней тем же тоном, что и Лэйси, словно музыка была его религией, и сразу стал чужим.

– И как у такого человека могла родиться настолько безграмотная в музыке дочь? – поинтересовалась Лэйси.

– Генетика – вещь загадочная, – возразил папа.

– Нет, на такое я не куплюсь. Ты понимаешь, о чем речь, Декс? Где-то в тебе это сидело. Просто нужна была моя помощь, чтобы вытащить его наружу.

Весьма благородное предположение, что я, сама того не зная, унаследовала вкус к музыке от отца – по меньшей мере хотя бы вкус. Все вокруг считали, что я пошла в мать: тусклая прыщеватая кожа, вьющиеся волосы и занудство. Но если Лэйси разглядела во мне отца, сказала я себе, значит, сходство действительно есть.

– Декс? Значит, вот так тебя теперь зовут? – Папа внимательно смотрел на меня, пытаюсь найти во мне признаки Декс.

– Без обид, мистер Декстер, но Ханна – отстойное имя, – заявила Лэйси.

– Зови меня Джимми. И никаких обид – это мать ее так нарекла. Как по мне, имя Ханна больше подходит маленькой дряхлой старушонке.

Лэйси рассмеялась:

– Точно!

Очередное открытие: оказывается, папе никогда не нравилось мое имя и выбрал его не он!

– Но *Декс*? А вообще-то, одобряю, – сказал папа.

Я была и рада, и не рада, что он принял мое прозвище. Предполагалось, что оно останется нашей тайной, кодовым обозначением того, что происходит между мной, Лэйси и той личностью, которую она из меня лепила. Но если Лэйси решила предъявить ее миру, подумалось мне, должно быть, у нее были веские причины. Должно быть, она сочла Декс вполне

сформировавшейся личностью, способной выдержать чужой испытующий взгляд, а не просто воображаемой подругой для наших с Лэйси посиделок.

– Вот и хорошо, – сказала я отцу. – Декс. Так всем и скажи.

– Твоя мама будет в восторге, – промурлыкал он, и эта мысль явно нравилась ему не меньше, чем само имя.

– Что ж, Джимми, может, хотите послушать настоящую музыку? – предложила Лэйси. – У Декса есть диск «Bleach». Во всяком случае, она растет над собой.

Папа посмотрел на меня, явно пытаюсь прочесть по моему лицу, уйти ему или остаться, но я не могла решить, чего хочу: чтобы он продолжал очаровывать Лэйси или испарился, позволив ей наконец вспомнить о моем существовании.

– В другой раз, – проговорил он в итоге. – Меня призывает «Пирамида». – На лестнице он ненадолго помедлил. – Да, и кстати, Декс, хорошо бы сполоснуть этот стакан, пока мама не вернулась. Ты же знаешь, как она относится к грязной посуде.

Мама плевать хотела на грязную посуду – кухня была епархией отца. Однако содержимое пресловутого стакана могло ее взволновать, и отец таким образом давал мне понять, что он все понял и готов сохранить тайну.

– А ты мне не рассказывала, что твой папаша был крутым, – заметила Лэйси, как только он ушел. Словно благословляла меня, и по большей части я испытывала гордость.

* * *

С легкой руки Лэйси посиделки у меня дома стали регулярными, и было лишь вопросом времени, когда мать потребует пригласить «эту Лэйси» на обед, чтобы своими глазами взглянуть на чародейку, которая заставила отца вспомнить о своих панковских корнях, а дочь – облачиться в обноски дальнбойщика.

– Мама поведет себя по-дурацки, да? – сказала я, когда мы с отцом возились с ворохом наклеек «Пабблишинг клирингхаус»¹¹. Это был наш с ним многолетний ритуал еще с тех времен, когда я верила: если аккуратно лизнуть каждую наклейку и поцеловать конверт на удачу, то к нашему порогу обязательно доставят огромный чек на миллион долларов. Я давно потеряла тот клочок бумаги, на котором педантично составила список барахла, которое куплю, когда разбогатею, но мне по-прежнему нравилось мятное мороженое с шоколадной крошкой, которое являлось частью ритуала, как нравилось и то, что мама в процессе не участвовала.

Лэйси должна была явиться через пару часов. Мама приготовила лазанью – единственное, что ей удавалось.

– Полагаю, мы оба знаем, что твоя мама какая угодно, но только не *дурацкая*.

Вполне справедливо: ее религией было «жить как все». Мама ни разу не намекала, что жаждет моей популярности, – видимо, невозможность такого развития событий говорила сама за себя, – зато она на каждом шагу советовала мне не высовываться, быть тише воды, ниже травы, не повышать голоса, а лучше помалкивать. Чтобы отодвинуть промахи на более позднее время, когда они не столь фатальны. «С возрастом уже есть что терять, и теряешь не все разом, кое-что все-таки остается, – сказала она мне однажды, когда мы листали ее фотоальбомы, где на старых снимках была запечатлена неловкая девочка-подросток с несуразными выпуклостями, а уже на следующей странице появлялись розовощекая первокурсница и молодая мать с мутными глазами и младенцем на обтянутом халатом бедре, словно все промежуточные годы выпали и потерялись; может, ей так и казалось: она что-то упустила. – Чем ты младше, тем легче все испортить».

¹¹ Рекламная компания, специализирующаяся на лотереях и розыгрышах товаров и услуг.

Папа был в нашей семье штатным мечтателем: покупал лотерейные билеты, составлял постоянно растущий список изобретений, которые он так и не внедрил, бизнес-проектов, которые так и не начал, лицензий, которые так и не приобрел. Мама хранила свои фантазии при себе, и нам всем было легче притворяться, что их у нее нет вовсе.

Обед прошел ужасно. Мы вчетвером сидели в обшитой деревянными панелями столовой, устроившись на уголке длинного стола, которым никогда не пользовались, и ковыряли подгоревшую лазанью на покопанных тарелках из «Кеймарта»; мать хмурилась всякий раз, когда Лэйси роняла на клеенчатую скатерть крошки чесночного хлеба, а Лэйси то ли вежливо притворялась, что ничего не замечает, то ли действительно не замечала, направив все силы на прохождение массированного блиц-опроса: где работает ее мать, к какой церкви принадлежит отчим, какие у нее планы на колледж (никаких), и каждый следующий вопрос фатально превосходил по банальности предыдущий, и все они были достаточно унижительными, но не могли сравниться с испепеляющим взглядом матери в мою сторону, когда я вставила, что, как и Лэйси, подумываю после выпуска годик отдохнуть, вместо того чтобы штурмовать колледж, поскольку, по словам Лэйси, капиталистическая система вынуждает гуманитарное образование лишь в еще больших количествах штамповать тунеядцев для своей финансовой машины, а мать на это сказала: «Прекрати выпендриваться».

Я задалась вопросом, квалифицируют ли унижение как смягчающее обстоятельство при убийстве.

Лэйси говорила «да», «нет», «пожалуйста», благодарила за вкусный, вовсе не подгоревший и не пересоленный ужин. Лэйси говорила, что маленькие городки плодят ограниченных людей и она ведет в одиночку войну против отупения – вернее, теперь уже вдвоем, поскольку она привлекла на свою сторону меня. Лэйси говорила, что никогда не ходит с отчимом в церковь, поскольку религия оказывает деструктивное влияние на восприимчивые массы и она, Лэйси, не собирается поддерживать ни десятиной, ни своим присутствием любые институты, склонные к интеллектуальному порабощению, а когда моя мать, полуеретичка и внучка протестантского священника, предположила, что лишь юношеское высокомерие и нравственная трусость вынуждает нас отрицать вещи, которых мы не понимаем, Лэйси ответила: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми»¹², и добавила, что трусость – это когда врагов обвиняют в непонимании, вместо того чтобы привести честные доводы, после чего отец рассмеялся, а я начала всерьез сомневаться, что нам удастся выбраться отсюда живыми.

– Так как же вы, чудики, познакомились? – осведомилась Лэйси. – По-моему, вы из тех, у кого есть своя история.

Теперь я знала, что и Лэйси понимает, насколько плохи дела, ведь если мама на кого и походила, то точно не на человека со своей историей.

Вообще-то одна история у нее, разумеется, была, и как раз об этом: любовь с первого взгляда. Я ее обожала, и не столько из-за подробностей, сколько из-за того, как они вместе ее рассказывали, как смотрели друг на друга в этот момент, будто внезапно вспомнив, что сами выбрали такую жизнь.

Мама улыбнулась:

– Я только что окончила колледж и получила дурацкую работу в автосервисе – вела бухгалтерию для какого-то друга моего отца. У меня выдался кошмарный денек, я только и мечтала запереться, чтобы тихонько дочитать книжку, но тут ввалилась шайка шалопаев, провонявших табачищем и одетых, как им казалось, под Брюса Спрингстина. Твой отец глупо ухмылялся...

¹² Мф. 6: 5.

Она смолкла, потому что в этом месте отец всегда пояснял, что был пьян, а она уточняла, что, разумеется, он не садился за руль в подпитии и машину вел его приятель Тодд, трезвенник-христианин, с которым остальные ребята дружили только потому, что он охотно их подвозил, – но сейчас папа ничего не сказал.

Мама закончила сама:

– У них спустило колесо по дороге на какую-то вечеринку. Так что можно себе представить, в каком они были настроении. Отпускали идиотские шуточки, выделялись передо мной, флиртовали, даже не ради меня самой, а просто потому, что я была единственной девушкой в пределах видимости, – по-видимому, биологическая потребность.

«И пусть это послужит тебе уроком», – обычно вставлял для меня отец, но сейчас снова милосердно промолчал.

– Все, кроме отца. Сначала он ничего не говорил, поэтому я и обратила на него внимание: значит, не идиот или хотя бы подает такие надежды. Потом уже он заметил, что я читаю Воннегута, и вынул из кармана пальто книгу в мягкой обложке. Догадываетесь какую?

– Ту же самую? – спросила Лэйси.

– Ту же самую.

Эта была та часть истории, которую я любила больше всего, и мне хотелось, чтобы Лэйси тоже поняла, что их встреча была предопределена судьбой. Что в них все-таки есть нечто особенное, а значит, и во мне тоже.

– В общем, его друзья отправились на свою вечеринку, но Джимми остался и каким-то образом подбил меня сбежать с работы. Мы провели всю ночь на крыше, болтая про Воннегута и указывая друг другу на созвездия, хотя ни один из нас не желал признаваться, что просто выдумывает их на ходу. А потом в один прекрасный момент, когда над Батл-Криком вставало солнце...

– Он вас поцеловал? – предположила Лэйси.

– Как бы не так! Он собирался, но струсил. Проводил меня до дома, и только. Я два дня ждала, пока он позвонит и позовет меня на свидание, а когда он так и не позвонил, я заставила себя пойти в книжный магазин, где он работал, и сказала: «Ты кое-что забыл». И поцеловала его.

– Очень мило, – заметила Лэйси и покосилась на меня, будто говоря: «Видать, и мамаша у тебя клевая?»

– Само собой, вы догадываетесь, почему я не позвонил, – сказал отец, и я наострила уши, потому что подобного продолжения мне слышать еще не доводилось.

Мечтательная улыбка сошла с лица матери.

– Джеймс!

– Я так надрался, что к утру все начисто забылось, – сообщил папа. – Вообразите мое удивление, когда ко мне нагрянула какая-то чудачка и заявила, будто знает меня, а потом кинулась мне на шею и поцеловала, прежде чем я успел возразить.

– Джеймс! – повторила мама. А потом сказала ему, как и мне недавно, но совсем другим голосом: – Прекрати выпендриваться.

И только после ее слов я сообразила, что все это правда.

Отец ухмыльнулся, будто преступник, которому удалось выйти сухим из воды; мать встала и сказала, что ей надо позвонить по работе, совсем забыла, и добавила:

– Было приятно с тобой познакомиться, Лэйси.

Я думала, что папа последует за ней, но он остался.

– А кто твои родители, Лэйси? – спросил он, будто не заметив, что дверь пыточной камеры распахнулась и теперь мы вольны сбросить оковы и убираться к чертовой бабушке.

– Тебе не кажется, что допросов на сегодня достаточно? – встряла я.

– Расслабься, Декс. – Лэйси побарабанила ногтями по стенке стакана, а потом принялась водить пальцем по ободку, пока он не запел.

Она никогда не рассказывала мне ни про предков, ни про свою жизнь до нашего знакомства. Я не возражала. Предпочитала представлять ее прошлое как вакуум, будто не было никакой Лэйси до Декс, как не было и Декс до Лэйси, будто мы создали друг друга. Я знала, что она выросла в Нью-Джерси, недалеко от океана, но все же не рядом; знала, что у нее есть отчим по прозванию Ублюдок, и отец, к которому она более благосклонна, исчезнувший каким-то непонятным, однако не окончательным образом; знала, что живет она в соседнем районе, где дома в общем похожи на наш, но их не вполне благополучные обитатели снижают рыночную стоимость жилья; знала, что вместе нам лучше, чем порознь, а главное, лучше, чем со всеми остальными, и этого мне было достаточно.

– Отец ушел, когда я была маленькая, – сказала она. – С тех пор я его не видела.

– Сочувствую, – сказал папа; я же промолчала, ибо что тут скажешь. – Ты знаешь, где он сейчас?

Лэйси пожала плечами:

– Думаю, он пират. Или грабитель банков. А может, один из тех хиппи-террористов шестидесятых годов, кому пришлось пуститься в бег, чтобы уйти от федералов. Я бы не возражала. Или, знаете, может, он типичный паршивый бездельник, который послал родную доченьку нахрен и завел новую семью на другом конце города. – Она нарочито громко рассмеялась, а я старалась не стореть со стыда, потому что она выругалась в присутствии отца. – Господи, вы бы видели свои рожи! Тоже мне трагедия. Пустяки. Мамочка уже обзавелась прекрасным новым мужем и ребенком в придачу и уверяет, что нет ничего лучше возможности начать заново. Правда, для настоящего начала меня пришлось отрезать, но ведь жизнь – это компромисс, правильно?

Я размышляла о ее отсутствующем отце. Про Ублюдка мне было известно. Но не про ребенка. О нем она ни разу не упоминала. Во всяком случае, при мне.

– Сочувствую, – повторил папа.

– Она же сказала: пустяки, – возразила я, потому что надо же хоть что-то сказать.

– Я слышал. – Отец встал. – Как насчет горячего шоколада, барышни?

Это была наша с ним фишка: готовить зимними вечерами горячий шоколад, добавляя в него щепотку перца, просто ради наличия секретного ингредиента.

– Я сыта. – К собственному отвращению, я говорила совсем как мать: диета гнала ее прочь из столовой при любом упоминании шоколада, а у нас с отцом появлялась еще одна радость только для нас двоих.

– И мне уже пора, – подхватила Лэйси.

Мне тут же захотелось отыграть назад, сказать «да», радостное «да, давайте уьемся горячим шоколадом и объедемся печеньем, устроим милую обжираловку, всё, что хотите, только оставайтесь» – отчасти из-за того, что у нее не было отца и мне стало стыдно за свое пусть и минутное нежелание делиться с ней своим, но главным образом из-за того, что это была Лэйси, и всякий раз, теряя ее из виду, я боялась больше никогда не увидеть ее.

Папа обнял ее на прощанье. Точно так же он обнимал меня, крепко и властно. Я ни разу не видела, как это выглядит со стороны, да и не должна была видеть. Я обожала его за то, что он полюбил ее ради меня. За то, что увидел в ней то же самое; что не только захотел обнять Лэйси, но и удостоился ее ответных объятий.

И все-таки назавтра после школы я предложила поехать на озеро, а не пойти ко мне; а на следующий день – в ее любимый музыкальный магазин; а на выходные, когда она попросилась ко мне переночевать, я ответила, зная, что обижу ее, но надеясь, что из гордости она не признается:

– Давай лучше к тебе.

* * *

– Тебе надо кое-что знать, – начала Лэйси.

Мы уже минут двадцать сидели в «бьюике» с заглушенным двигателем и выключенной музыкой; ее дом неясно вырисовывался на другом конце подъездной аллеи. Я могла бы милосердно помочь ей продолжить, но не стала. Мне хотелось заглянуть внутрь.

Она откашлялась.

– Ублюдок...

– Ублюдок? Я думала, его нет.

Замешательство Лэйси выглядело непривычно. Мне оно не понравилось, или же я сама себя в этом убедила.

– Просто хочу прояснить: я считаю, что оказалась среди обитателей этого дома по случайному стечению обстоятельств. У меня с ними нет ничего общего. Ясно?

– Ясно. Лично я считаю, что мы с тобой сироты, выросшие в дикой природе. Воспитывающие друг друга.

Она фыркнула:

– Если бы. – И добавила: – Ну, двинули.

Но мы двинули не сразу; сначала она включила кассетник и мы прослушали еще один трек; Лэйси сидела, закрыв глаза и запрокинув голову, потерявшись в тех краях, куда ее мог унести только Курт, а я пока не научилась следовать за ней. Когда его крик смолк, она нажала кнопку «стоп».

– Иди за мной.

Ее дом оказался зеркальным отражением моего. Как с виду – двухэтажное строение, почти такое же, как наше, дерьмовый алюминиевый сайдинг, гараж на одну машину, три спальни, – так и в более существенных отношениях. Наш дом, бестолковый и буйный, был забит ненужными вещами, когда-то надоевшими отцу: недоделанный гимнастический комплекс, ни разу не опробованная беговая дорожка, кипа фотографий без рамок, оставшихся от занятий в фотоклубе, стопка самодельных ритуальных масок – результат опрометчивого поступления на курсы этнографической скульптуры... Мамин вклад в «наносные отложения» касался самодисциплины и самосовершенствования: календари и стикеры с подчеркнутыми два раза напоминаниями, забытые списки дел, брошюры по медитации и релаксации, видеокурсы аэробики. Наше жилище представляло собой два дома в одном, между ними пролегалo море всяческого хлама: пепельницы, никем не использовавшиеся со времен смерти бабушки, вышитые подушки, пошлые сувениры, привезенные из почти не запомнившихся нам путешествий, – и все это было окружено заросшей сорняками канавой и запущенным огородом, настоящим бельмом на глазу, в появлении которого родители обвиняли друг друга. На взгляд стороннего наблюдателя наша обитель казалась единым целым; надо было хорошо нас знать, чтобы понимать, насколько каждый отгородился в своем царстве.

Дом Лэйси был не менее шизофреничен, но между внешними и внутренними владениями пролегла линия Мажино¹³. Снаружи, как я позднее выяснила, находилась территория Ублюдка: сплошные прямые линии и стерильные поверхности. Идеально подстриженный газон, сверкающие водостоки, грамотное распределение кустарников и горшечных растений. Внутри безраздельно царили шестидесятые: будто какой-то иностранец решил создать американский дом по рекомендациям старых ситкомов. Цветастая мебельная обивка в прозрачных пластиковых чехлах; «мотельные» картины – маяки и угрюмая домашняя скотина – в мас-

¹³ Система французских военных укреплений на границе с Германией, возведенная в 1930-е годы и названная в честь тогдашнего военного министра Андре Мажино.

сивных позолоченных рамах; целый фарфоровый зверинец, ухмыляющийся из-за узорчатого стекла. И кружевные салфеточки. Уйма салфеточек. Над камином висел массивный деревянный крест, на каминной полке стояла рамочка с текстом молитвы о спокойствии. Поэтому меня слегка удивило, когда в комнату вошла мать Лэйси, дыша перегаром, в котором я к тому моменту нашей дружбы уже умела различить запах джина.

Вид у Лэйси был такой, точно она мечтает отпереть стеклянную горку и шваркнуть кувалдой по фарфоровым кошечкам.

– Господи, мама, ты что, принимала в этом ванну?

Волосы у матери Лэйси были черные, длинные (длиннее, чем приличествует в таком возрасте), свободно распущенные по плечам, как у юной девушки, и сильно посеченные на концах. Глаза сонные – я бы решила, что это следы неусыпной заботы о новорожденном, если бы не запах.

– И не могла бы ты прикрыться? – Лэйси махнула рукой в сторону кружков намокшей ткани вокруг сосков. – Это омерзительно.

Мать Лэйси закрыла влажные пятна ладонями. Родители определенного возраста, производящие на свет нового отпрыска (неопровержимое доказательство их спаривания), всегда вызывают некоторую неловкость. Но тут и без младенца было ясно: секс у этой женщины есть.

– Никогда не залетайте, девчонки, – сказала она. – Материнство превратит вас в уродливых коров.

– Я тоже тебя люблю, – сухо ответила Лэйси. И бросила мне: – Наверх.

– Девочки, – позвала мать Лэйси. – Девочки! Девочки! – Казалось, это слово подчинило ее себе так же, как мы. – Останьтесь! – Она опустилась на кушетку, и та закричала под ее тяжестью. – Сядьте. Составьте компанию старой корове. Расскажите ей, каково быть юными и свободными.

– Тебя никто не заставлял рожать, в твоём-то возрасте, – заметила Лэйси.

– Пачка буклетов об абортах, которую ты мне оставила, довольно ясно продемонстрировала твою позицию, дорогая. – Тут мать Лэйси запрокинула голову и разразилась смехом, до ужаса напоминавшим смех Лэйси, после чего их близкое родство стало очевидным. – Но если бы не маленький Джейми, у меня не было бы всего этого. – Она похлопала ладонями по кушетке, имея в виду и дом, а возможно, и город, и свою жизнь. Всё, кроме Лэйси.

– Да и Большого Джейми у тебя не было бы, – заметила Лэйси. – Жуть.

Пьяный театральный шепот:

– Лэйси немного ревнует к братику.

Лэйси ответила, тоже громким шепотом:

– Я все слышу.

– С единственным ребенком всегда так, – сказала ее мать, – что ни делай, она все равно превратится в испорченную маленькую дрянь.

– Твоя правда, мамочка, ты меня испортила. Вот в чем моя проблема.

– Видишь?

– Наверх, Декс, – приказала Лэйси. – Пошли!

– Декс? – Голос матери взлетел до заоблачных высот. – Ты та самая знаменитая Декс?

Мне было известно, что она про меня слышала. Теперь же я получила доказательство своей значимости. Когда она снова пригласила меня присесть, я подчинилась.

Лэйси была недовольна; Лэйси смирилась. И тоже села.

– Так что она тебе про меня наговорила? – спросила меня ее мать.

Я ничего не ответила, что в общем соответствовало истинному положению дел.

– Не бойся, я не обижусь. Я же знаю, как у вас, девчонок, бывает. Считаете, что ненавидеть матерей – ваша работа.

– Неплохо заполнить такую работенку, – огрызнулась Лэйси.

– Раньше такого не было, правда, Лэйси? Ребенком она не хотела отпускать меня от себя. Рыдала, висла у меня на ноге, если я не могла взять ее с собой. И что же я делала?

– Ждем, затаив дыхание, – процедила Лэйси.

– Брала ее с собой. На каждый концерт, на каждую вечеринку. Надо было ее видеть в футболке Metallica, с развевающейся челкой... – Она отсалютовала в воздухе, подняв руку на фут над головой. – Несколько раз даже провела меня за кулисы. Вышибалы не возражали.

– Спроси ее, что она делала со мной потом, – сказала Лэйси. – Трудно уследить за дошколенком, одновременно сношаясь с тур-менеджером.

– Ты, заткни пасть! – взвилась ее мать и, вновь обретя достоинство, заметила: – Я никогда в жизни не сношалась с *тур-менеджером*.

– Стандарты! – усмехнулась Лэйси.

– Она теперь ни за что не признается, но ей нравилось. С чего, по-твоему, она такая музыкальная? Это у нее в крови.

Лэйси фыркнула:

– То дерьмо едва ли можно назвать музыкой.

– Как только тебя угораздило вырасти такой высокомерной?

– Как только тебя угораздило залететь от главного козла Нью-Джерси? Кто-нибудь, позвоните в «Неразгаданные тайны»¹⁴!

Если бы я сказала маме что-нибудь подобное – и если вообще такое можно допустить, – пожалуй, она залепила бы мне рот скотчем и продала цыганам. А мать Лэйси лишь ласково улыбнулась. Семейные узы в стиле Шамплейнов.

– Тогда она не была таким нытиком, – заверила меня мать Лэйси. – Не жаловалась, когда я разрешала ей не спать до двух ночи и танцевать по квартире. Только мы вдвоем. Нам было тогда хорошо, правда, Лэйси?

Лицо Лэйси почти неощутимо смягчилось. Может, она даже собиралась сказать «да», признать, что толика хорошего все же была, но тут в замке входной двери заскрежетал ключ, и обе они мгновенно застыли.

– Блин, – проговорила Лэйси.

– Блин, – согласилась с ней мать. – Я его не ждала.

Лэйси, которая уже была на ногах, швырнула матери пачку жевательной резинки.

– Мы будем наверху, – бросила она и на сей раз не стала дожидаться, пока я последую за ней.

Я тоже кинулась вверх по лестнице, слыша за спиной монотонное бормотание: «Возьми себя в руки. Возьми себя в руки. Возьми себя в руки», и скрип открывающейся двери, прямо как в фильме ужасов. Лэйси затащила меня в свою комнату, прежде чем я успела разглядеть монстра.

* * *

Во тьме комнаты Лэйси голос Курта включен на всю катушку, чтобы заглушить все исходящее внизу. Она – в черной кружевной пижаме, я – в своей футболке со Снупи и боксерских шортах «Гудвилл». Наши спальные мешки соприкасаются, мы лежим «валетом», голова к ногам, ноги к голове. И шепчемся в темноте. Две одинокие сироты.

– Никогда? – говорит Лэйси.

– Никогда, – отвечаю я.

– Тебя это мучает?

– Не то чтобы я особенно спешу.

¹⁴ Американский интерактивный сериал (1987–2010).

- О боже, ты же... ты же не собираешься ждать *свадьбы*, а?
- Я просто не тороплюсь. К тому же не заметно, чтобы в мою дверь ломился какой-нибудь парень.
- А если бы ломился?
- И какой он?
- Кто?
- Этот парень, Лэйси. Который мечтает меня растлить.
- Ну не знаю, просто парень. Тот, кто считает тебя горячей штучкой.
- Я его люблю?
- Откуда мне знать?
- А он меня любит? У него это тоже впервые? Для него это важно? Он заметит, что в профиль я смахиваю на беременную?
- Ты не смахиваешь на беременную.
- Когда обожрешь...
- Любая будет смахивать на беременную, если обожрется.
- Я вот о чем: что он думает, когда видит меня голой? И как я узнаю, что он думает? Могу ли я прочесть его мысли, когда смотрю ему в глаза? Он...
- Господи, да не знаю я, понятно? Ведь он же плод воображения. Но до меня дошло. Ты мечтаешь о сказке. Свечи, цветы, волшебный принц. И прочая чушь. – Она засмеялась. – В жизни все не так, Декс. Странно, противно, страшно, грязно. – И Лэйси рассказала мне историю про то, как один парень «спустил желе», когда она выдавливала ему прыщик, потому что парни вообще странные, гораздо страннее, чем можно предположить. Она так и сказала: «спустить желе», а еще употребляла выражения типа «сделать салют», «извергнуть лаву», мало что значившие для меня. Она была поэтом эякуляции.
- Мне не нужна сказка. Просто... пусть это будет не наш обычный тупица из Батл-Крика, который дронит в отцовском «олдсмобиле». Нужно что-нибудь получше, правда?
- Декс, дружок, вот тут ты угадала.
- Спасибо.
- Но ты ведь уже как бы тискалась, да?
- Ясное дело, – соврала я.
- И какая база?
- Ты серьезно?
- Серьезно, Декс. До какой стадии дошли?
- Я не собираюсь это обсуждать.
- Ладно, в самом деле, давай сменим тему. Я ведь не какая-нибудь там сексуально озабоченная, со мной можно поговорить и о другом. Политика. Философия. Садоводство.
- Отлично. Выбирай.
- Значит, сидя дома в одиночестве, ты никогда, скажем, не вытаскивала тот старый плакат с Кирком Кэмероном, который, как мне известно, ты прячешь у себя в шкафу?..
- Никогда.
- Ага, как же! Спорим, ты гладила его лицо, всматривалась в эти одурманивающие большие карие глаза, и твоя рука скользила под одеяло и...
- Лэйси! Боже, да заткнись ты!
- А что такого, это же абсолютно нормально. И даже полезно.
- Я больше не хочу тебя слушать.
- Ты становишься женщиной, в тебе просыпаются желания...
- Я тебя ненавижу.
- О нет, ты меня любишь.
- Размечталась!

– Брось, Декс. Прости, но ты и сама знаешь, что любишь меня, точно знаешь. Скажи это. Скажи.

– Не буду.

– Ты меня любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь.

– Лэйси, отвали.

– Не отвалю, пока не скажешь.

– Тогда ты успокоишься?

– Ни за что!

Я помедлила, мысленно проговаривая слова, пробуя их на языке, отливая в подходящую форму, беззаботную и непринужденную.

– Ладно. Я тебя люблю. Хотя ты и сексуально озабоченная.

Она не успокоилась.

* * *

Я без вопросов понимала, что из комнаты лучше не выходить, но Лэйси заснула, а ванная находилась дальше по коридору, и я не видела ничего плохого в том, чтобы пойти на голоса, без труда ориентируясь в темноте, поскольку дом повторял наш. Я точно знала, на сколько ступенек можно потихоньку спуститься, не будучи замеченной.

Мужчина, которого Лэйси называла Ублюдком, оказался ниже ростом и стройнее, чем я представляла, у него были очки в тонкой оправе и неожиданно седые волосы. Мать Лэйси стояла перед ним на коленях в белом лифчике и трусах, сцепив пальцы и устремив взгляд на черные туфли Ублюдка.

– Боже, прости меня... – говорила она.

– За то, что я напилась, – подсказывал он.

– ...За то, что я напилась. За то, что проявила слабость. За...

– За то, что поддавалась искушениям своего распутного прошлого.

– За то, что поддавалась искушениям.

Он грубо пнул ее носком туфли в живот.

– ...Искушениям своего распутного прошлого, – поправила ее она.

Мне казалось, я вижу по телевизору сцену из фильма.

Мать Лэйси плакала. Где-то за моей спиной ей вторил младенец.

Она попыталась встать, но Ублюдок двумя пальцами нажал ей на плечо и покачал головой. Она вновь опустилась на колени.

Ребенок заходился в плаче, и даже я ощутила ее, эту боль – провозвестницу моего материнского будущего, первобытный призыв: успокой его, убаюкай, спаси.

– Я ему нужна, – пробормотала мать Лэйси.

– Раньше надо было думать. – Голос его звучал так невозмутимо, так рассудительно, будто они вдвоем сидели за столом и обсуждали долг по кредитной карте. – Ты не испортишь моего сына, как испортила свою дочь, – сказал он.

Она кивнула.

– Повтори.

– С Джеймсом-младшим я буду больше стараться.

– Ты начнешь уважать себя.

– Я начну...

– Больше никакой дряни.

– Больше никакой...

Ребенок плакал.

Тут я почувствовала прикосновение к плечу, достаточно легкое, чтобы не вздрогнуть, а может, я не вздрогнула, потому что ощутила присутствие Лэйси.

– Из дома можно выйти через кухню, – прошептала Лэйси безо всякой необходимости, потому что в наших домах все было устроено одинаково, в том числе и черный ход. Я первой скользнула во тьму; любые звуки перекрывал все усиливавшийся плач ребенка, и мне пришлось подавить порыв вернуться за ним и увести его вместе с Лэйси из этого дома, но ведь он мне не брат, да и водить машину умела только у Лэйси. Не мне претендовать на роль спасительницы.

Она тихонько затворила за нами дверь и, пока мы садились в машину и отъезжали, не промолвила ни слова.

И музыку не включала.

– Ты хочешь домой, – изрекла она наконец.

Это был не вопрос, но я знала, что меня ждет, если я отвечу «да». Конец всему.

Теперь я поняла: это проверка. Может, весь этот вечер был проверкой. С Лэйси не угадаешь, развиваются ли события своим ходом или подчиняются ее закулисным махинациям, но, напомнила я себе, всегда безопаснее предполагать второе.

С проверками я справлялась на ура. Дотянувшись до Барби-магнитолы, я нажала кнопку и начала напоказ трясти головой в такт сильным долям Курта.

– Поехали на озеро.

* * *

Озеро в феврале: мокрый снег и мерцание звезд. Полностью в нашем распоряжении. Ветер, вода, небо и Лэйси. Больше мне ничего не надо.

– Предки – дебилы, – сказала я.

Она пожала плечами.

– Все кругом дебилы, кроме нас, – добавила я.

Мы называли озеро нашим, но мы владели им только в том смысле, в каком владели всем вокруг: потому что мы были тут, потому что тайный мир, созданный нами для себя, целиком принадлежал нам. Он состоял лишь из тишины и простора, потому что нам нравились только холод и дождь.

Идею подала Лэйси. Пусть вода отпугивает остальных. Мы будем нимфами и наядами, порождениями влаги и глубины.

Это я рассказала ей про них. Про нимф, наяд и селки¹⁵. Они не попадались в тех книжках, которые читала Лэйси. Она знала сирен (из «Одиссеи») и русалок (из комиксов). Об остальных она слышала от меня.

Она уверяла, что умеет дышать под водой, и я почти верила, что это правда и что она волшебница. Водяные существа, по ее словам, чужды лесу, и только этим она объясняла, почему мы должны держаться от него подальше. Никакого леса, только озеро, и меня это устраивало. Я не могла дожидаться, когда потеплеет и я увижу, как она плавает.

Снег был легкий и грязно-маслянистый, который невольно вызывает мысли о кислотном дожде. Лэйси предпочитала грозы. Свинцовое небо, потрескивающий воздух, тревожное, захватывающее дух предощущение скорой катастрофы. Иногда мы приезжали к озеру перед первыми раскатами. Подставляли лица дождю, считали секунды между разрядом молнии и громом: раз-и, два-и, три-и. Пока не становилось ясно, что гроза уже в разгаре и можно дышать вместе с ней, жить в ее ритме, в точности знать, через сколько мгновений после белой вспышки открывать рот и орать в унисон оглушительному рыку грома.

¹⁵ Волшебные существа из фольклора Шетландских и Оркнейских островов, люди-тюлени.

Но тут царила Лэйси. Я предпочитала тишину. Гроза словно разделяла нас, вставала между нами третьим лишним, и мне было далеко до ее свирепой притягательности. Мне нравилось, когда мы только вдвоем.

Лэйси смотрела на водную гладь. В темноте озеро становилось другим. Бездонным. Я представила себе поблескивающие в глубине глаза и зубы – острые, голодные, алчные. Притаившихся чудищ. Я представила песню сирены, призыв в ночи, мы с Лэйси отвечаем на него, входим в ледяные волны, погружаемся в черноту. Исчезаем.

Она подобрала камешек и швырнула в воду:

– Вот отстой.

Похоже, еще одна проверка. Надо найти слова, которые вытащат ее из самоуглубленного состояния. Но то была ее магическая способность, не моя, – выуживать из темного ила чудовище и отсекал ему голову. Лэйси – драконоборец; я – ее копьеносец. Лэйси нуждалась в собственной Лэйси, но у нее была только я.

– Отстой, – повторила я, словно соглашаясь, ибо готова была согласиться с любыми ее словами.

Я хотела сказать, что отношения ее матери с отчимом не имеют значения, и я понимаю, что оба они чужие Лэйси, а Лэйси чужая им, она появилась на свет уже взрослой, богоподобной, расцвела посреди поля или оттаяла из глыбы льда на солнце. Я хотела сказать, что другие для нас не важны, они существуют только ради удовольствия не замечать их – плоды фантазии, которые ходят, разговаривают, изображают наличие внутреннего мира, но пусты изнутри. Бездумные оболочки. Совершенно не похожие на нас. Лэйси сама мне так объясняла, когда читала вслух Декарта. Ты можешь познать только себя самого, говорила она. Единственная реальность, гарантированная и подтвержденная, – это ты и я. Я хотела напомнить, чему она меня учила: что мы можем уехать вместе, что жизнь жестока в той мере, в какой мы сами ей позволяем, что мы живем в Батл-Крике по собственной воле, но вольны и покинуть его.

Я хотела сказать ей, что ничто из увиденного меня не напугало, что ничего не изменилось, но она уже достаточно хорошо изучила меня, чтобы уловить фальшь в моем голосе.

Я хотела – большая часть меня хотела – спасти ее.

Но в глубине души таился холодный расчет, постыдное облегчение, что у Лэйси никого нет, ибо я до ужаса в ней нуждалась; и если ее жизнь разрушена, если за пределами нашего тесного кружка царят лишь мрак и мерзость, для меня открываются немыслимые перспективы. Что Лэйси тоже нуждается в ком-нибудь. И если я пройду проверку, уложусь в ее рамки, то этим кем-то смогу стать я.

– Мой отец любил воду. – Она нащупала еще один камешек и запустила его в озеро. – Когда мы жили в Джерси, он любил возить меня в Атлантик-сити. Рядом с казино стоял механический пони, и папа оставлял меня там, вручив горсть четвертаков. Хватало на целый день.

– Долго же ты каталась.

– Мне ужасно нравилось. Знаешь ведь, что говорят про девочек и лошадей. – Сквозь скорлупу пробилась обычная Лэйси, подмигнула мне с усмешкой. – А еще я была идиоткой.

– В шесть лет все идиотки.

– Он обещал, что однажды повезет меня кататься на настоящем пони. Вроде бы в Вирджинии есть такие пляжи, где по песку носятся дикие пони? Кругом сплошные пони, как в доисторические времена или типа того.

– Чинкотиг. – «Мисти из Чинкотига» я прочитала одиннадцать раз.

– Как скажешь. Я все равно не в курсе, ведь мы туда так и не съездили.

Я бы могла рассказать ей, что мой папа – прямо-таки король невыполненных обещаний, что о разбитых мечтах и разочарованиях мне известно все, однако я боялась, как бы она не обозвала меня долбаной всезнайкой, и даже тут я с ней согласилась бы.

– Я ни разу не видела океан, – сообщила я, и слова оказались магическими. Они вернули ее.

– Безобразие! – завопила Лэйси.

Озеро тут же отошло в тень. Она указала на машину:

– Залезай.

Мы ехали шесть часов. «Бьюик» гроыхал и хрипел, кассетник сожрал третий любимый бутлег Лэйси, мятые дорожные карты указывали нам маршрут, и пока я нависала над подзрительно линиялым туалетным сиденьем, а потом мыла руки раскисшим серым мылом, внимательно изучая себя в зеркале и пытаясь разглядеть признаки новой личности, которая бежала посреди ночи невесть куда, какой-то дальнотойщик попытался облапать Лэйси на стоянке «Роя Роджерса»¹⁶. Мы гнали, пока машина не свернула с автострады на занесенную песком парковку. Мы были на месте.

Океан оказался бескрайним.

Океанские волны бились, и бились, и бились о берег.

Мы держались за руки, и Атлантика омывала наши босые ноги. Мы вдыхали соленые брызги под рассветным небом.

Где-то там, далеко, думала я, Англия, Испания, Франция, другие люди. Где-то там бороздят моря военные корабли, круизные лайнеры и грузовые суда. Громаднее океана я в жизни ничего не видела.

Его подарила мне Лэйси.

– Вот как я это сделаю, – сказала Лэйси почти неслышно на фоне шума прибоя. – Приеду сюда ночью, когда на пляже будет пусто, и спущу на воду надувной плот. Дождусь, когда он унесет меня подальше, чтобы меня не смогли найти. Чтобы не оставалось шанса передумать. Прихвачу с собой материны снотворные пилюли, плеер и булавку. А что будет потом, когда заплыву достаточно далеко, шум прибоя затихнет, плот будет качаться на волнах, и вокруг ничего не останется, кроме меня и звезд? Тогда я это сделаю. По порядку. Порядок очень важен. Сначала пилюли, потом булавка – одна крошечная дырочка в плотe, совсем малюсенькая, чтобы он не сразу утонул. Потом я надену наушники и улягусь на спину, чтобы видеть звезды и чувствовать воду на волосах, и голос Курта унесет меня домой.

Подразумевалось, что только я ее понимаю, только я различаю невидимые следы, слышу произнесенные шепоты, ощущаю хаос мира и чувствую его, – в этом, сказала Лэйси, моя главная ценность, но как часто в тот год Лэйси говорила, а я совсем ее не слышала.

– Я бы ни за что не добралась сюда в темноте, – заметила я и не стала рассказывать ей собственный план, хотя уже его придумала, ведь Лэйси говорила, что это важно. Я спрыгну со здания – такого высокого, что можно умереть еще в полете. В Батл-Крике не было ничего подобного; там даже не нашлось бы сооружения, на котором можно было выяснить, боюсь ли я высоты. Лэйси считала, что скорее всего боюсь. По ее словам, со стороны очень похоже. И я заверила ее, что она права, ведь иначе ей вздумалось бы устроить проверку.

Мне не хотелось очутиться в вышине, обозревая всё разом, – только если в самый последний раз. Потому что тогда я не испугаюсь. Мне казалось, я почувствую себя всемогущей, замерев на краю, держа в руках самое драгоценное, решая, сберечь его или уничтожить. Когда выбираешь такой способ, сохраняешь полную власть – до самого конца.

Если я выберу такой способ, думала я, то под конец хотя бы смогу взлететь.

Мы ночевали в машине, как можно дольше не выключая обогреватель, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. В кои-то веки Лэйси разрешила мне самой выбрать музыку – «в пределах разумного», добавила она. Мы включили R.E.M., потому что мне нравился медовый голос вокалиста и нравилось, что Лэйси он тоже нравится. Она свернулась калачиком на сиде-

¹⁶ Сеть фастфуда в северо-восточных штатах США.

ные, и я положила голову ей на плечо. На той парковке, глядя на волны, мы слушали его голос, убаюкивающий нас.

Когда я проснулась, небо было серым и горизонт горел огнем. Лэйси спала, и я умела соблюдать тишину.

Восход, будто по заказу, напоминал яркую открытку. В утреннем свете океан выглядел ласковее, и я размечталась о плоте Лэйси – тогда мы совершим задуманное вместе, уплывем в огонь. Я не слышала, как она подошла сзади, но ощутила пожатие ее руки.

– Не верится, что ты дала бы мне проспать такое, – заметила она.

Но я знала, что она проснется, как только я выйду, и последует за мной.

Я стояла в воде, ледяные иголки кололи мне лодыжки, Лэйси была рядом.

– Ты самое то, – сказала Лэйси.

– Что?

– Всё. Всё, что мне нужно. А я – всё, что нужно тебе, правда?

Это было заклинание; оно связало нас на всю жизнь. Поначалу лишь слова, но мне казалось, что всю жизнь я только и ждала, чтобы услышать их, чтобы произнести.

– Всё, – кивнула я; полная капитуляция, душа наизнанку. Мне хотелось, чтобы она поглотила меня целиком, без остатка.

– Только мы, – продолжала Лэйси.

Сироты, призраки. Мы ускользнем из обыденного мира в собственный, созданный нами самими, где будем необузданными, будем свободными, будем королями.

Такое обещание мы дали друг другу, и уж его-то мы сдержим.

Лэйси. Если я врала

Ты говоришь, что хочешь знать. Но на самом деле нет, не хочешь. Я нравлюсь тебе скорее как некое придуманное тобой мифическое существо, вроде тех троллей или русалок, о которых ты без передыху читала, вроде гребаного лесного духа, который возник и ожил только потому, что ты зажмурилась и призвала его изо всех сил. Может, я и врала тебе, Декс, но по поводу действительно важных вещей мне даже не надо было утруждаться, ведь тебе и в голову не приходило спрашивать.

* * *

Вот о чем я тебе врала.

Курение. Когда тебя нет рядом, я курю одну за другой; я верблюд, который накапливает никотин про запас, чтобы пережить дождливый день под надзором Декс. Как думаешь, почему машина пропахла куревом? По-твоему, некий табачный призрак проникает в нее в ночи, чтобы поднять в лобовое стекло, подавая сигналы звездам? Нет уж, или ты сама все знала, или попросту не хотела знать.

Я не врала, когда сказала, что не курю, потому что в тот день не курила. И я не врала, что бабушка умерла от рака легких, вот почему в тот день я бросила, как бросала за пару месяцев до того и в предыдущие разы, дважды за год. И срывалась. Но в тот день я сказала правду. А на следующий день? Может, мне не хотелось признаваться, что не могу бросить. Ведь твоя Лэйси, уверенная в себе и сильная, не будет прятать под матрасом пачку на всякий пожарный случай, а после ужина с Ублюдком доставать ее, высовывать голову в окно и выдыхать горячий дым в зимний воздух. Она почти не в счет, та первая затяжка, после того как я бросила курить. Было холодно, и табачный дым напоминал пар изо рта. Первая должна была стать последней.

Но первая затяжка никогда не бывает последней. Может, я тебе не рассказала, потому что мне нравилось иметь свои тайны. Что мое – то твое, так мы с тобой говорили. Но сначала все-таки мое.

Я курю, и шрам настоящий. Тот, на запястье, который я показала тебе в первый день. И то, что я рассказала в начале, прежде чем пошла на попятную, тоже правда.

Дальше. Не существовало никакой группы. Не была я никакой рок-богиней с гитарой наперевес, не скакала со сцены в зал, дрейфуя в море поднятых рук. Только не надо меня винить за ложь, которую ты сама жаждала услышать. Тебе хочешь видеть меня бесстрашной. И когда ты на меня смотришь, я бесстрашна. Но ведь ты не всегда рядом.

Теперь о том, как и когда я это сделала.

Ножом. Лэйси Шамплейн в ванне с ножом.

Это было после Джерси, после Ублюдка, после Батл-Крика, Никки и Крэйга, однако еще до тебя. Про Никки и Крэйга – не столько вранье, сколько недомолвка, но ты, наверное, скажешь, что все равно считается.

Ножом в ванне, потому что так показывают в кино: теплая ванна, теплая кровь, все уплывает прочь... Я пустила воду, разделась, а потом полоснула по коже, но только один раз и очень неглубоко: в кино не говорят, что это офигенно больно.

* * *

До Лэйси, сказала бы моя дорогая матушка, жизнь была гребаной малиной, сплошная «травка» да пивные похмелья, ни дать ни взять белая рвань в Эдемском саду. Они с моим

папой, сладкая парочка, квасили, трахались и беззаботно тусили все семидесятые напролет, пока она не залетела. С тех пор, по ее словам, ей пришлось голодать. Тоже мне, гребаная Жанна д'Арк из Батл-Крика. Один порванный презерватив, одна прерванная (сечешь юмор?) поездка в убогую клинику, где она не решилась даже опустить задницу на ржавый складной стул, не говоря уже о том, чтобы раздеться и позволить врачу с волосатыми пальцами выскоблить себя; одно предложение руки и сердца – с двумя упаковками пива и без кольца. Один писающий, какающий и блюющий младенец, который больше любил орать, чем спать. На свадьбе я представляла собой бугор размером с арбуз под дешевым кружевным платьем. Вот почему не осталось фотографий. Они поженились в парке и, поскольку не верили дерьмовым приметам, еще до церемонии стояли рядышком у мусорного бака, держась за руки, пока священник готовился, а пятнадцать человек, давшие себе труд припереться на свадьбу, усиленно делали вид, что они трезвы и не под кайфом, из уважения к заносчивым родителям жениха, которые даже не соизволили прийти. Будущие мама с папой пялились друг на друга, прикидываясь счастливыми и безумно влюбленными, «хотя я знала, что он себе думает: мать вашу, пусть все побыстрее закончится и можно будет хорошенько нарезать, – говорит она, – а ты сверлила гребаную дыру у меня в животе, и я просто пыталась не блевануть».

В детстве это была моя любимая история – как я невольно поприсутствовала на их свадьбе и как получила свое имя. Потому что у отца она звучала по-другому в те давние времена, когда он сидел на краешке моей кровати, гладил меня по голове и рассказывал сказки на ночь.

– Мама была красивее всех на свете, – говорил он мне. – И знаешь, что было в ней самое прелестное?

Наступала моя очередь, и я с четырехлетнего возраста помню свою реплику:

– Арбузик!

– Чертовски верно. Арбузик. Я не мог удержаться, протянул руку и погладил ее животик, вот как сейчас глажу тебя по головке, ее белое платье зашуршало под ладонью, и вот тут-то я и сказал то самое слово.

– Лэйси!¹⁷

– Я говорил про платье. И про то, какая она в нем красивая, и как приятно ее гладить, и как мне хочется... Ладно, тебе не обязательно об этом знать. Но она решила...

– ...Что ты говоришь про меня.

– Вот почему тебя так называли, арбузик. Вот как ты стала Лэйси.

Когда мне было десять, мать призналась, что позаимствовала мое имя из какого-то бульварного романчика. Оставалась неделя до родов, а они все еще не решили, как назовут ребенка, – и вообще не знали, кто родится, мальчик или девочка, не покрасили комнату, не собрали кроватку. Она взяла имя с потолка, а отец, очнувшись после ночной попойки в четверг, не стал упираться: Лэйси так Лэйси.

– Повезло, что не мальчик, – добавила мать, – а то называли бы Фабио.

Хобби у нее такое: клеветать на прошлое. Сочинять разные истории, чтобы утешить себя и позлить меня.

«Твой отец ушел, потому что не любил нас».

«Твой отец никчемный кретин, нам без него намного лучше».

Если только не впадет в другое настроение: «Это он все погубил, конечно он, долбаный младенец, а как же иначе. Мы сами были детьми, влюбленными детьми, куда нам ребенок? Мы уже не трахались на кухонном полу, не ходили голые и под кайфом, не лизались до умопомрачения; остались одни сплошные пеленки и счета, и разве его вина, что он слинял? Я бы и сама так поступила, додумайся я первой».

¹⁷ Ласу (англ.) – кружевное.

Твой отец ненавидел тебя с того самого дня, как узнал о твоём существовании. Грозился, если придется, за волосы отволочь меня назад, в ту клинику. Пытался откупиться. Все что угодно, лишь бы разделаться, лишь бы избавиться от этого.

Так он тебя и называл. „Это“. И я говорю не про те времена, когда ты была комочком размером с орех в животе, я про настоящего младенца: уродливое красное орущее существо, которое размахивало крошечными кулачками, будто я совершаю смертный грех, оставляя тебя на пару часов в мокрых пеленках, а он говорил: „Можешь ты наконец заткнуть эту тварь? Надеть намордник? Дать стопку виски? Моя мама всегда так делала“.

А когда я не позволяла тебя спаивать, он сам принимал на грудь, чтобы хоть чуть-чуть успокоить проклятые нервы. До тебя он тоже выпивал, но пьяницей не был.

До тебя все шло отлично».

О той ночи, когда он ушел и больше не вернулся: «Слинял, как вор, пока все спали. Будто из тюрьмы сбежал. Ему повезло, что я не проснулась. Зарезала бы».

В Джерси, будучи в особенно хорошем настроении, она рассказывала, как они познакомились на концерте Ван Халена, оба пьяные в дрова. Он работал охранником, она была фанаткой и ради пропуска за кулисы могла трахнуться с любым.

При Ублюдке она старалась помалкивать: он не любил напоминаний, что он у нее не первый. Но порой, когда он отпрашивался играть в боулинг во имя Господа или еще куда-нибудь, она надиралась, распускала сопли и снова заводила старую пластинку в духе «Это твоя жизнь»¹⁸: «Твой папочка подарил мне на Валентинов день вешалку для одежды. Надо было ею воспользоваться».

Я и без нее знаю.

«Лэйси», – сказал папа, положив руку на мою еще не сформировавшуюся голову, и между мной и его ладонью была только тоненькая прослойка кружев и стенки матки, и он так сказал потому, что уже тогда считал меня красивой.

Он пил потому, что она его вынуждала.

Он бросил ее потому, что она его заставила. Я сама слышала ее вопли, перекрывавшие звон посуды и дребезжание стекол: «Убирайся, убирайся ВОН!» – и в конце концов он послушался.

И вовсе не как вор. Он попрощался.

Встал на колени перед моей постелью и прошептал мне на ухо:

– Я люблю тебя, мой маленький арбузик. Помни об этом.

Я взмолилась:

– Папочка, не уходи; папочка, заberi меня с собой, – потому что даже тогда понимала, о чем он говорит, и знала свою роль.

– Она мне не разрешит, – ответил он, и даже тогда, наверное, я понимала и это. – Если бы я мог, я остался бы.

И еще:

– Я за тобой вернусь.

Он и возвращался – четырежды в том же году и дважды в следующем, только когда она была на работе или спала, и я ни разу ничего ей не сказала. Иногда он появлялся ночью и бросал камешки в мое окно, будто хренов Ромео, взбирался по шпалере, прокрадывался ко мне в спальню с мягкой игрушкой в зубах, каким-нибудь хромым кроликом или трехногим котом, которого нашел и приберег специально для меня, поскольку знал, что мне нравятся увечные. Он прижимал к губам палец, я тоже, и мы играли в лунном свете, тихо, как мышки, притворяясь, что хотя бы сегодня рассвет не наступит.

¹⁸ «This Is Your Life» – американское телешоу (1952–1961, 1971 – 1983), где ведущий раскрывал приглашенным звездам малоизвестные подробности их биографии.

Когда он перестал приходить, я не сомневалась, что у него есть веская причина. Мне нравилось воображать, что он на корабле, матрос на торговом судне или юнга на частной яхте: отец возится с такелажом или взбирается по мачте с криком: «Эй, на палубе!» или «Земля!», копит деньги, чтобы в конце концов действительно вернуться и забрать меня с собой.

Вот только откуда он узнает, что искать меня надо в Батл-Крике? Нам вдвоем отлично жилось в Джерси: я делала, что хотела, а мать мне разрешала. Я оказывала ей своего рода любезность, притворяясь, что меня устраивает ее так называемая работа официанткой, и игнорируя череду печальных одиноких мужиков, местных торговцев машинами и пьяных туристов. И вдруг к нам незнамо каким образом занесло Ублюдка в велюровом костюме. Ублюдок Джеймс Трои – какая ирония, что твой родной отец и мой приемный носят одно и то же имя. Впрочем, и про жилой трейлер, и про Букингемский дворец тоже говорят «дом». Такой лингвистический трюк, который помогает выдавать одно за другое.

«Мой Джеймс» – называла она его с самого начала. «Мой Джеймс» знает, каково ей, в отличие от суки куратора, которая вечно прикапывается к ксанаксу, будто можно обойтись без заменителей, чтобы снять напряжение без пива. «Мой Джеймс» меня отвезет; «мой Джеймс» приготовит ужин; «мой Джеймс» говорит, что это дьявольская музыка; «мой Джеймс» считает, что для тебя надо ввести комендантский час; «мой Джеймс» утверждает, что аборт – это грех, он все равно мечтал стать папой, а ты мечтала о братике, взгляни, какое чудесное колечко...

Люди решат, что младенец мой, возражала я, что ты ради приличия нянчишься с собственным внуком. А она ответила, что вряд ли кто-нибудь поверит, будто она хоть пальцем шевельнет ради приличия, да и в любом случае, пусть катятся куда подальше.

Она решила, что с ним ей будет лучше, чем без него, и возможно, была права, но если собачий корм на вкус лучше собачьего дерьма, совершенно не обязательно им питаться. Когда «собачий корм» получит работу в своем вшивом родном городишке, совершенно не обязательно миглом нанимать фургон и катить в закат, слушая Барри Манилоу и каждые двадцать минут останавливаясь пописать, потому что будущий маленький братик давит мамочке на мочевого пузырь.

Нельзя переезжать в Батл-Крик летом. То есть, понятное дело, в Батл-Крик вообще нельзя переезжать никогда и никому, разве что серийным убийцам, растлителям малолетних или еще каким неисправимым злодеям, заслужившим долгую маету в чистилище, прежде чем кармическая пуля отправит их напрямик в ад. Но когда выбора нет, лучше воздержаться хотя бы от появления здесь летом, когда мы выползли из паршивого фургона перед паршивым домишком и чуть не изжарились уже на полпути к нему. «Здесь не жара выматывает, а влажность», – любят твердить стариканы в парке, те самые, которые притворяются добрыми дедушками, а потом обнаруживается, что они вполне себе зрячие и украдкой заглядывают тебе в декольте. Но виновато и то, и другое. И влажность, благодаря которой после полудня впору проводить конкурс мокрых футболок, и жара, сжигающая червей на мостовой с мерзким шипением, – ты не веришь, что я его слышу, но говорю тебе, Декс, в тот первый день я мечтала улечься рядом с ними и спокойно дожидаться самовозгорания.

Летом в Батл-Крике воняет поджаренным собачьим дерьмом. Местные как будто не замечают запаха – может, привыкли за целую жизнь или же ничего другого не знали. Взять, к примеру, ваше так называемое озеро, настолько густо покрытое водорослями, что и не догадаться, где там вода, пока не нырнешь, но тут даже здешние придурки не рискуют, ведь один бог ведает, какая нечисть водится в зловонном иле. Или общественный бассейн с жуткой зеленой водой цвета хлорки, смешанной с мочой.

Но приходится терпеливо таскаться на озеро, в бассейн и в супермаркет «7-11», где содовая вечно теплая и отдает тошнотворными жареными пирожками с мясом, потому что летом в Батл-Крике больше совершенно нечем заняться. Разве что запереться на пару месяцев дома,

но когда живешь с Ублюдком и его отпрыском (он-то, строго говоря, не ублюдок), вряд ли выберешь агорафобию.

Я пристрастилась к прогулкам. Тут в любую погоду особенно не погуляешь, тем более летом, так что способ был хорош только возможностью убить время и избежать контактов с людьми. А кроме того, когда внедряешься на вражескую территорию, хорошо бы изучить рельеф местности. Хотя изучать тут нечего: главная улица, которая, блин, так и называется – Главная улица; убогие южные районы и чуть менее убогие северные; прорва секонд-хендов и еще больше заколоченных витрин; похожая на тюрьму школа да заправка с гигантским хот-догом на крыше. Вот и вся прогулка, и я даже не замечала, пока не взглянула на карту, что город имеет форму ружья с примыкающим к нему спусковым крючком – лесом.

И вот в один душный скучный знойный день в лесу я набрела на Никки; стояла одуряющая жара, майки у нас обеих стали практически прозрачными, через влажную от пота ткань просвечивали соски, но вряд ли она что-нибудь замечала. Никки Драммонд, президент почетного общества и королева выпускного бала – хотя тогда я еще была не в курсе; Никки Драммонд, пьяная в три часа пополудни во вторник, позор Батл-Крика. Она сидела посреди болота, прислонившись спиной к дереву; между коленей бутылка водки, во рту сигарета, и только эти ее крашенные патлы (которые она перед сном, как выяснилось, расчесывала ровно сто раз) навели меня на мысль, что в грядущую унылую осень она мне, видимо, не товарищ. Но до осени оставалось еще два месяца, я скучала, а у нее была бутылка. Я уселась рядом, и она дала мне глотнуть. Неплохо.

Стоит ли удивляться, что в последующие дни я постоянно гуляла в лесу? Что мне там нравилось? Вот и еще одна невинная ложь для тебя: будто бы я мифическое порождение воды, от природы боящееся деревьев.

Лес с его тенями и шорохами, где ветер, если внимательно прислушаться, звучит почти музыкой, мне не просто нравился – я была там как дома: зеленый лабиринт, где можно спрятаться и помечтать, что я в сотнях миль от Ублюдка и его ублюдочного Батл-Крика, что я последний человек на Земле, что выжжено все и вся, кроме меня и деревьев, червей и оленей. Мне нравилось, когда густая листва сплошь закрывала от меня небо. Под зеленой завесой время словно замирало – или, наоборот, мчалось на всех парах, и тогда я могла бы выйти из чащи напрямик в будущее, где все мои знакомые уже состарились или умерли, и жизнь начнется с чистого листа. В первый же день я набрела на заброшенную железнодорожную станцию, которую, похоже, покинули не меньше пары сотен лет назад; я гадала, удастся ли воскресить дух, который здесь витал. Ибо тут царил конец цивилизации: вокзальчик, рельсы и ржавый исполин – товарный вагон, мирно почивавший в бурьяне. Ты, возможно, вознамерилась бы мысленно перенестись в прошлое – энергичную, бурлящую эпоху дам с кружевными зонтиками и мужчин в котелках и с саквояжами, спешащих по важным делам. Но мне станция нравилась такой, как есть, безжизненной и тихой, разрисованной выцветшими граффити, заваленной битым стеклом и мусором, затерянной во времени. Впервые мне попало стремное место, и более того, самое что ни на есть реальное: гниющая сердцевина Батл-Крика. Царство апокалипсиса, где я чувствовала себя как рыба в воде.

Можешь вообразить, каково мне было, когда на мои владения посягнула Никки.

– Я тебя не знаю, – заявила Никки, будто существование без ее ведома является тягчайшим из грехов. Будто это я тут непрощенная гостья.

– Я тоже тебя не знаю. – Мне удалось сделать еще один глоток, прежде чем она отняла у меня бутылку.

– Я всех знаю.

– Видимо, нет.

– Всех. И всё. Что делать, когда уже всего достигла, а? Что дальше?

Заплетающимся языком Никки Драммонд поверяла пришлому рвани свой экзистенциальный кризис.

– Я здорово сомневаюсь, что ты всего достигла. Раз уж ты живешь здесь.

– Я здесь командую, – поправила Никки.

Тогда я почти ее не знала и не сообразила, насколько Никки пьяна, если не выцарапала мне глаза в ответ на мой хохот.

– Я совратила Крэйга, – пробормотала она, – я его совратила, совратила, совратила, тоска, тоска, тоска...

– Готова спорить, он считает тебя обольстительной.

Чего никто не знает о Никки Драммонд, поскольку она никогда не позволит себе настолько расслабиться и открыться, так это того, как выглядит ее лицо, когда с него спадает маска привередливой принцессы. Что происходит с ее пухлыми розовыми губками, когда их не кривит язвительная усмешка; какими огромными становятся ее голубые глаза, когда она их не закатывает и не шурит. Она ступала по миру тигрицей, но в тот день скорее напоминала персонажа дурацкого «мотивирующего» плаката из арсенала школьных психологов, где с ветки свисает котенок, а надпись призывает: «Держись!» Такой когтистый котенок, но милый.

Итак, Лэйси Шамплейн высказывает из дебрей с ножом к сердцу, потому что вот тебе правда: до тебя была Никки Драммонд.

Мы пили; она говорила. Я постигла мир Никки от А до Я: каково быть идеальной и популярной, быть «Никки и Крэйгом» в духе «Барби и Кена», быть начертанной в скрижалях, если скрижали – это школьный ежегодник, а чернила – сперма и пиво. Она поведала мне, что они созданы друг для друга, и раз уж она не смогла полюбить его, то не полюбит уже никого, и что любовь – полная херня.

– Порви с ним, – предложила я.

– Пробовала. Не сработало.

Слишком ленива, слишком подавлена, чтобы решиться на нечто большее, чем упереться в стену во вторник днем и скулить. Какая трагедия, правда? А как же «вдохновляющие» рекламные ролики Салли Стразерс о заочном обучении и обещания, что даже бедняжка Никки может прокачаться почти за бесценок?

– Иногда так тоскливо, хоть подымай, – призналась она. Мы сидели рядышком, свесив ноги над рельсами. – У тебя такое бывает?

Меня интересовало другое. Я далеко ушла от прежней девчонки из Джерси. Подружка Шая, которая плелась у него в хвосте и говорила всякой швали: «Да, чего изволите», тогда как правильный ответ был: «Пошел ты!», осталась в прошлом; я перестала быть папиной дочкой, причем очень давно, а мать родила себе нового ребенка, над которым можно измываться. Я была девушкой Курта, он придавал смысл моей жизни. Возможно, я первая преодолела разделявшее нас с Никки расстояние и смазала ее пастельный блеск для губ, но лично мне помнится, что она уже была рядом, практически у меня на коленях, и наши рты, а потом и языки, а потом и остальные части тела соединились, будто так планировалось с самого начала. Неизбежно.

Наверное, воображение рисует тебе всякую порнуху, неистовые бои подушками и девочек из доставки пиццы, которые жаждут попробовать твою пеперони на вкус. Фигурально выражаясь. Это и воспринималось порнухой, потому-то и вызывало интерес. Никки бросалась в омут столовой, я действовала осторожнее, потому что, уж поверь, четко понимала, даже тогда, что одним разом мы не ограничимся и в перспективе это может нехило шибануть по нам обоим.

Вот так все и началось: случайно и в то же время нет. Мы договорились встретиться на следующий день в том же месте, в то же время, с той же бутылкой водки, но она появилась с Крэйгом Эллисоном на буксире, мистером Занудным Кобелем, как она его представила. Он уже знал о случившемся между нами и хотел поучаствовать.

– Я только посмотрю, – заверил он, и в тот раз этим и ограничился.

Они

Мать Декс, вопреки утверждениям ее мужа и дочери, на самом деле обладала здоровым чувством юмора. К примеру, она долгие годы находила свою жизнь весьма забавной. Ведь все, чем она являлась, чего хотела и к чему стремилась, было сведено на нет, ее черты стерлись до безликой маски, не имеющей собственного имени. Мать Ханна Декстер. Жена Джимми Декстера. «Ты» – когда от нее что-то нужно, «она» – когда ничего не требуется. Временами ей казалось, что прежняя безграничность выбора на деле оказалось воронкой, что с каждым неверным решением жизнь сужается, каждая ошибка отсекает половину вариантов, продвигая ее по спирали вниз, и в конце концов ничего не останется, кроме как рухнуть в маленькую темную нору, не имеющую дна.

Каждый сам строит свою судьбу – ну разве не смешная шутка? Да, она сама выбрала Джимми Декстера, но сначала государство отобрало у нее стипендию, потому что губернатор решил сократить расходы на образование; да, она сама выбрала симпатичного гитариста с кривоватой улыбкой – единственного, кто всю ночь говорил с ней о Воннегута и спорил о Вьетнаме, позволив ей, пусть и сквозь завесу табачного дыма и под язвительные псевдоинтеллектуальные комментарии насчет дверей восприятия, представить, будто она все еще в колледже, но выбрала-то она того Джимми, а не этого, который не понимал, почему нельзя играть на гитаре, когда ребенок спит, и почему на пеленальном столике не место косякам с травой. Она выбрала Джимми Декстера, но ей никогда не пришло бы в голову выбрать мужчину, чьи сперма и отсутствие корней привязали ее к этому месту, этому городу, этой клоаке притворства и ограниченности, из которой она так рвалась прочь первые двадцать лет своей жизни. Влюбляться она собиралась не больше, чем расставаться с любовью, как не собиралась и отвечать на ухаживания типа с накладными волосами, который служил в соседнем отделе и время от времени посылал ей непристойные шуточки вместе с рабочими документами, и уж вовсе она не выбирала, чтобы муж узнал о ее измене и страдал из-за этого. Она решила остаться с Джимми – ради дочери и ради него самого, но не могла потом не обижаться на них обоих.

Они опустошили друг друга, она и Джимми, и теперь были не нужны никому, кроме друг друга. Чаще всего ей казалось, что живет она ничуть не хуже других и что вокруг полно пустых оболочек, с улыбкой тянущих свою лямку. Впрочем, в иные дни, как плохие, так и самые лучшие, она мечтала о побеге.

Она понимала, что мешает дочери. А дочь не понимала, насколько мешает матери, ей ни за что нельзя было позволить узнать, как мать порой мечтает сбежать или – предательство еще более страшное – потихоньку ускользнуть к другой девочке, холеной обладательнице блестящих волос, девочке, глаза которой лучатся врожденной уверенностью в себе, пусть даже с толикой жестокости, этой верной спутницы юного могущества. Мать Декс мечтала безмолвно постоять за спиной у этой другой, более красивой и более счастливой девочки, чтобы мир поверил, что именно это прелестное существо воспитано ею.

Нельзя жаловаться на неуклюжую или угрюмую дочь. Ведь такой же девочкой была когда-то и она сама. Она обязана любить дочь безо всяких условий. Она обязана принимать дочь со всеми ее тараканами, любить и их тоже, и часто она так и делала. Она это умела.

Она была хорошим человеком.

Она хотела быть хорошим человеком.

Она хотела поступать правильно, уважать людей, отдавать Богу Богово, а кесарю кесарево. И соглашалась на самую скромную награду: дом, здоровье и семью.

Она хотела любить своего мужа, поскольку когда-то она его любила, как и полагается хорошей жене, ведь если бы она не любила, если бы они были парой разочарованных чужаков, очутившихся под одной крышей, если бы их прежние личности были заперты в прошлом, а

их новые версии могли только произносить реплики старого сценария и пытаться представить чувства своих персонажей, вот тогда ей, пожалуй, пора было добавить в свой апельсиновый сок стопку «Тирета» – и дело с концом.

Но ведь оставалась еще дочь, а она любила свою дочь.

Конечно, она любила дочь.

Правда, в детстве любить ее было значительно проще. Проще любить и дочь, и мужа, и вымышленный образ их семьи, когда в доме ребенок. Ребенок, который требует праздника, целого рождественского шоу; ребенок, который требует усилий и вознаграждает за них объятиями, чудесными улыбками и безмолвной верой в то, что ты делаешь для мира нечто хорошее, работаешь на будущее, что твои решения, компромиссы и кислый запах изо рта мужа по ночам служат высшей цели. Ты родила дочь, ты нянчила ее, купала, вытирала, любила, оберегала, пока она росла; а потом она выросла. Невзрачная, угрюмая, мечтающая быть сиротой без матери; но даже тогда наиглавнейшей проблемой, с точки зрения матери Декс, являлись частые отлучки дочери из дома. Находиться рядом с ней было неприятно, но еще хуже, если она отсутствовала и родителям Декс приходилось терпеть одиночество вдвоем, когда не надо ради дочери делать хорошую мину при плохой игре, и только тут становится ясно, насколько и впрямь плоха игра, потому что через пару лет одиночество вдвоем превратится в повседневную реальность.

Когда настанет время, думала мать Декс, она уйдет. Она даже опасалась, что он уйдет первым, вот только если Джимми все еще способен на такой шаг, она, возможно, сумеет найти в себе силы полюбить его вновь и остаться. Ей хотелось, чтобы дочь ушла и они с мужем наконец разобрались друг с другом; ей хотелось, чтобы дочь осталась, хотелось намертво вцепиться в нее, хотелось кричать: «Не смей расти, не смей меняться, не смей отдаляться от меня!» – а потом появилась Лэйси. И теперь было уже почти не за что цепляться, потому что Лэйси, кроха за крохой, отбирала у нее дочь.

Декс была папиной дочкой, или хотела таковой быть, хотела быть романтиком, тем, кто гуляет по горящим углям и проходит сквозь пламя, бесстрашный и невредимый. Она искала нечто такое, чему можно посвятить всю себя, – некую цель, дело или любовь, ради которой и жизни не жалко, – но ведь она была и маминой дочкой, а мать хотела для нее лучшей доли.

Мы. Апрель – июль 1992

Декс. Прибежище дьявола

Когда Лэйси в первый раз дала мне наркоты, ничего особенного не произошло. Она сказала, что грибы слишком старые, да и вообще приятель двоюродного брата ее почтальона оказался не самым надежным поставщиком, и кто знает, что нам подсунули. Может, какие-нибудь шампиньоны-мутанты. Я умоляла заменить их травой; она легкодоступна и, насколько мне известно, не превращает мозги в кашу, несмотря на уверения социальной рекламы. Но Лэйси сказала, что травка – это для плебеев.

Когда Лэйси дала мне наркоты во второй раз, мы отправились в церковь.

Само собой, не в местную. Мы поехали в Дикинсон, за три города от нас, и остановились у первого попавшегося здания с крестом на крыше. Помахали ручкой паре пожилых дам, ковылявших через парковку, и те, поскольку были не из Батл-Крика, ничтоже сумняшеся помахали в ответ. Какие милые девушки, наверняка подумали они.

Мы зажевали грибы, и Лэйси лизнула меня в щеку, как иногда делала в хорошем настроении, – проворно и неожиданно, как кошка.

– Не представляю, что бы вы без меня делали.

Мы проходили «Пигмалиона» на уроках английского, и эта реплика особенно восхитила Лэйси. Мне нравилось: «В граммофоне я не услышу вашей души. Оставьте мне вашу душу, а лицо и голос можете взять с собой. Они – не вы»¹⁹. Но эту фразу было труднее вернуть в разговор.

– Когда, по-твоему, подействует? – спросила я. В прошлый раз для удобства употребления мы мелко порубили грибы и добавили в шоколадный пудинг. Но теперь решили соблюсти чистоту эксперимента. По вкусу – будто жуешь пенопласт.

– Может, уже. – Она рассмеялась. – Может, меня тут нет и я тебе только мерещусь.

Я показала ей средний палец, и мы вошли внутрь.

Это была идея Лэйси – устроиться на деревянных скамьях и дожидаться, пока с нами что-нибудь произойдет. Она как-то прочла про эксперимент, когда несколько человек отправились на пасхальную мессу под кайфом и получили трансцендентальные религиозные переживания, поэтому мы проглотили грибы, закрыли глаза и – в чисто научных целях, сказала она, – стали дожидаться трансцендентальных переживаний.

Лэйси уверяла, что чужие наркотические трипы скучны не меньше чужих снов, но когда меня наконец накрыло прямо в церкви, прямо с головой, это было самое безумное и неизгладимое впечатление в жизни: будто все образы, мысли и вещи раньше не существовали; будто мир создается сам собой специально для меня; будто стены шепчут священное откровение, которое слышу только я; будто голос священника превратился в голубой свет, в теплый кофе, скользящий внутри моего горла к моему тайному я; будто я стала тем, кем никогда раньше не была; будто жизнь – это вопрос, и только я знаю ответ; будто, стоит мне закрыть глаза, внешний мир, краски, звуки, лица, которые существуют только для моего удовольствия, сразу исчезнут. Там, в церкви, я не обрела бога; я стала им сама.

Впрочем, Лэйси, возможно, была права. Потому что позже, когда мы сравнивали ощущения, восторг потускнел. Свелся к пульсирующим стенам и завихряющимся краскам, звону в ушах и неясным шумам. Откровения обратились в пустышки, как только мы повели о

¹⁹ Пер. Е. Калашниковой.

них друг другу. Лэйси рассказала, что видела рога, которые выросли у священника, как только он начал клеймить дьявола; я слышала тяжелый металлический лязг, исходивший от стен, когда проповедник ополчился на хеви-метал, грозя расплатой за грехи. Когда он предупредил о жертвоприношениях животных на соседних фермах, нам обеим представилась кровавая волна, нависшая над паствой.

– Предсказуемо, – фыркнула Лэйси в итоге.

В ее устах – худшее оскорбление. Сдерживать смешки и стоны, пробовать на вкус слова, обонять краски и невинно улыбаться сидевшим позади старушкам, которые в изумлении уставились на нас, будто у нас искры из глаз сыплются – а они, возможно, и сыпались, – это было весело, но мы считали веселье ниже своего достоинства. Веселье – для Батл-Крика, для неудачниц, которые тащат своих качков в лес, выкуривают жиденькую самокрутку и тискаются в темноте. Не для нас; мы употребляем наркотики только в высших целях, провозгласила Лэйси. Мы будем философами; мы посвятим себя всем видам ухода от реальности.

Вот почему после службы мы собирались отправиться на пустынное поле и до полного изнеможения искать Красоту и Истину. Мы лежали бы в траве, высматривали ответы в небесах, создавали искусство, пытались стать настоящими. Во всяком случае, план был превосходный. Однако служба утонула в сумятице красок и звуков, и все стало таким странным. Ничто не казалось теперь достаточно реальным – ни парни в джинсовых комбинезонах, ни тряская поездка в кузове пикапа, ни густое пиво и мычание коров, ни фонтан крови, брызнувший, когда топор пробил толстую кожу, ни воющее животное, истекающее кровью. Густое пиво, густая кровь. Смеющиеся парни показывают средний палец воображаемому лицу в небесах. Смеющаяся Лэйси просит дать топор, а может, она его уже взяла и лужа под нами – это кровь, а может, ничего и не было, одни мечты, желания и кислотный угар.

Затем наступила темнота, мы очутились в амбаре на сене, и холодная рука скользнула в мои трусики.

«Просто скажи нет», – учили в школе, когда мы были слишком малы, чтобы представить такую необходимость, поэтому я сказала: «Нет», вытащила чужую руку из трусов и оттолкнула чье-то тело.

– Да ладно тебе, – сказал тело и уткнулось мордой мне в грудь. Я заметила рыжие волосы и почувствовала отвращение. Лэйси, зажатая между пареньком-фермером в клетчатой рубашке и тюком сена, стаскивала с себя лифчик и армейские ботинки. Фланель он носил безо всякой иронии. Это уж точно.

Я треснула по медноволосой голове и опять сказала: «Нет».

Он взвыл.

– Она говорила, ты назвала меня клевым.

Я оглядела парня (веснушки, кривоватая усмешка, глаза-бусинки, пухлые щеки) и подумала: «Может быть». Но «клевым» вовсе не означает, что я хочу это убогое животное – потное и неуклюжее. Что проку в клевом, когда он мусолит тебе сосок или слюнявит губы? Мой первый поцелуй был результатом проигранного кем-то спора; второй сорвали в темноте по ошибке. Теперь наступил счастливый номер три, и, когда я встала, парень буркнул:

– Вечно мне достается не та, – и принялся драть на сене.

– Лэйси, – позвала я; кажется, я плакала. В те дни я беспрестанно плакала. – Лэйси.

Она издала какой-то звук. Трудно говорить, когда ворочаешь языком в чужом рту.

– Отстань от них. – У рыжего были жуткие ногти и гнойные прыщи, и я без лишних слов поняла, что мне тоже достался не тот.

– Лэйси, я хочу уйти. – Возможно, я заставила себя заплакать, потому что против слез она устоять не могла.

– Подождешь немножко? – спросила Лэйси, не глядя на меня. Парень во фланелевой рубашке поставил ее лицом к тюку и целовал выпирающие позвонки. – Совсем чуточку?

Он усмехнулся:

– Не совсем чуточку. Придется ждать, сколько полагается. – Он лапал ее грязными руками, пальцы у него были перепачканы моторным маслом, под ногтями траур. Раньше мне не удалось как следует разглядеть этих парней. Типичное быдло, а мы ненавидели быдло.

Лэйси хихикнула.

Шею сзади обдало горячим дыханием.

– Не беспокойся, крошка, тебе не придется скучать, пока ждешь подружку.

– Лэйси, – снова позвала я. – Лэйси, Лэйси, Лэйси. – Молитва. Заклинание. И оно подействовало. То ли мои магические способности, то ли напор в голосе, то ли просто собственное имя, как строчка любимой песни, позвало ее домой.

– Да заткни ты эту чертову дуру, – сказал Фланелевый, но Лэйси проскользнула между его широко расставленных ног и подхватила с пола свою одежду.

Она коснулась моей щеки, по которой ползла слеза:

– Ты правда хочешь уйти, Декс?

Я кивнула.

– Тогда пошли.

Парни не обрадовались. Лэйси было плевать.

– Извини, – сказала я, когда мы уже оказались в безопасности, в машине.

Стекла были опущены, за нами тянулся шлейф хриплого голоса Курта, волосы у нас развевались, щеки горели, а поле, церковь и ночь съежились до истории, которую отныне можно со смехом пересказывать друг другу.

– За что ты извиняешься? – Лэйси втопила газ, как всегда делала в грустную минуту, и я представила себе, как пальцы ноги сжались на измазанной педали. Ей нравилось водить босиком. Лишь в эти моменты армейские ботинки закидывались подальше.

– За то, что заставила тебя уехать.

– Меня нельзя заставить, Декс.

– Все равно. Просто извини, мне жаль. – Но мне было ни капельки не жаль. Потому что в кои-то веки она ошиблась. Я заставила ее – и поняла, что мне это по силам. Настоящее трансцендентальное переживание, подлинное откровение: когда я заставила ее выбирать, она выбрала меня.

* * *

Уже три месяца мы дружили, если можно так сказать, хотя не уверена, что есть название для такого, для Декс-и-Лэйси, для того, что случалось, когда мы были вместе. Нам приходилось время от времени посещать школу, писать сочинения по английскому, вести пустые разговоры с родителями и учителями, вынимать посуду из посудомоечных машин, стричь газоны, разогревать в микроволновке замороженную пиццу для одиноких ужинов перед телевизором, спросонья выключать будильник, начинавший трезвонить в шесть утра, продираться сквозь все мирские тревобления школьной жизни, но запомнилось мне совсем не это. Где-то далеко нацию захватили танцы кантри, Лос-Анджелес бушевал из-за Родни Кинга²⁰, Билл Клинтон не затягивался²¹, Джордж Буш блевал в Японии²², малолетняя психопатка с Лонг-Айленда Эми Фишер выстрелила в лицо жене своего любовника, СССР приказал долго жить, но отголоски всех этих

²⁰ В 1992 году в Лос-Анджелесе вспыхнули массовые беспорядки по случаю оправдания полицейского, жестоко избившего чернокожего Родни Кинга за сопротивление при аресте.

²¹ Во время одного из выступлений в ходе предвыборной президентской кампании в марте 1992 года Билл Клинтон признался, что когда-то курил марихуану, «но не затягивался».

²² Во время визита в Японию тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего стошнило на японского премьер-министра.

событий не докатились до Батл-Крика. Помню: катим мы ночью по шоссе в «бьюике» Лэйси, я пытаюсь запихнуть в магнитоу ее единственную кассету Pearl Jam, защищаю Эдди Веддера исключительно ради удовольствия видеть ярость в ее глазах, и мне в лицо хлещет ливень, потому что стекло с пассажирской стороны застряло на середине, – только мы, я и она, наедине с машиной и дорогой, за рулем всегда Лэйси, несмотря на ежедневные обещания при случае научить меня водить. В моих воспоминаниях первая поездка словно и не кончалась, мы словно беспрерывно мчались в наше будущее. В дороге нам всегда было хорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.